

Михаил Бакунин

Кнуто-Германская империя и Социальная революция



Михаил Александрович Бакунин Кнуто-Германская империя и Социальная революция

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2891825

Аннотация

«В настоящем издании «Кнуто-Германская Империя» впервые появляется на русском языке в полном объеме.

Душеприказчик М. А. Бакунина, Джемс Гильом, в своем предисловии подробно останавливается на обстоятельствах, вызвавших опубликование этого сочинения по частям. По тем же причинам и на русском языке имелись лишь переводы «Бога и Государства», изданного Неттлау, «Бога и Государства», изд. Реклю и Каффиеро, и «Кнуто-Германской империи», представляющей собою лишь один из отрывков настоящего труда. Предлагаемый перевод сделан целиком с издания 1907 г. Таким образом вторая часть настоящего издания впервые становится доступным русскому читателю...»

Содержание

От переводчика	4
Предисловие	5
Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция	11
Конец ознакомительного фрагмента.	45
Комментарии	

Михаил Александрович Бакунин

Кнуто-Германская империя и Социальная революция

От переводчика

В настоящем издании «Кнуто Германская Империя» впервые появляется на русском языке в полном объеме.

Душеприказчик М. А. Бакунина, Джемс Гильом, в своем предисловии подробно останавливается на обстоятельствах, вызвавших опубликование этого сочинения по частям. По тем же причинам и на русском языке имелись лишь переводы «Бога и Государства» изданного Неттлау, «Бога и, с Государства», изд. Реклю и Каффиеро и «Кнуто Германской империи», представляющей собою лишь один из отрывков настоящего труда. Предлагаемый перевод сделан целиком с издания 1907 г. Таким образом вторая часть настоящего издания впервые становится доступным русскому читателю.

Переводчик не гнался за «легкостью и красотой слога» перевода приводящим часто к искажению мысли и духа оригинала. Ему представлялось предпочтительнее при соблюдении точности, правильности передачи мыслей автора и их оттенков, сохранить несколько тяжеловатый для русского уха и глаза стиль французского оригинала с длинными периодами и многочисленными придаточными предложениями. Читатель не посетует за необходимость употребить порою некоторое напряжение, чтобы проследить до конца мысль автора и будет с избытком вознагражден результатом своих усилий.

Вл. З.

Предисловие

29 сентября 1870 г. Покидая Лион в сопровождении Валенция Ланкиевича¹ и направляясь в Марсель после неудачи только что имевшего место революционного движения, Бакунин написал Паликсу² письмо. Приводим существенные выдержки из него³

«Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости“. Осторожность не позволяет мне придти пожать тебе в последний раз руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции в этот торжественный час, когда поставлен вопрос о самом ее существовании, снова сделалось делом человечества.

Я принял участие во вчерашнем движении и подписал свое имя под резолюциями Комитета Спасения Франции^[1] потому, что для меня очевидно, что после действительного, фактического разрушения всей административной и правящей машины лишь непосредственная и революционная деятельность народа может спасти Францию. Вчерашнее движение, если бы оно победило – а оно было бы победоносным, если бы генерал Клузере не предал дело народа – это движение, заместив Лионский муниципалитет, наполовину реакционный и наполовину неспособный, революционным Комитетом, выражающим непосредственно волю народа, могло спасти Лион и Францию. Дорогой друг, я покидаю Лион, с сердцем, полным печали и мрачных предчувствий. Я начинаю теперь думать, что с Францией покончено. Она делается немецким вице-королевством.

Вместо ее живого и реального социализма у нее будет доктринерский социализм немцев, которые скажут лишь то, что им разрешат сказать немецкие штыки. Бюрократическое и военное разумение Пруссии в союзе с кнутом С-Петербургского царя⁴ обеспечат спокойствие и общественный порядок на всем Европейском континенте по меньшей мере в продолжении пятидесяти лет. Прощай свобода, прощай социализм, справедливость для народа и торжество человечности. Все это могло бы явиться результатом современного бедствия Франции. Все это должно было бы вытекать из него, если бы только народ Франции, народ Лиона захотел!

Но не будем больше говорить об этом. Моя совесть подсказывает мне, что я выполнил свой долг до конца. Мои лионские друзья также знают это, а остальным я пренебрегаю. Теперь, дорогой друг, перехожу к чисто личному вопросу...⁵. Мне остается лишь расцеловать тебя и вместе

¹ Валенций Ланкиевич – молодой поляк, типограф, убит во время Коммуны в Париже (Прим. пер.)

² Луи Паликс – портной, квартирохозяин Бакунина, один из благороднейших представителей французских социалистов (Прим. пер.)

³ Это письмо было взято у Паликса при аресте в октябре 1870 г. и Оскар Тестю напечатал его (за исключением конца, имевшего отношение к личным делам) в 1872 г. во II томе своей книги «L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe» стр. 280. Бакунин сохранил черновик, что позволило Неттлау дать конец письма (опущенный Тестю) на стр. 612 своей биографии Бакунина.

⁴ В этой фразе уже выражена идея, которая несколько месяцев позже делается заголовком: Кнуто-Германская Империя.

⁵ Здесь, в неопубликованном Тестю отрывке, Бакунин говорит о своей временном аресте накануне и о своем кошельке, украденном у него друзьями порядка.

с тобой пожелать всего наилучшего бедной Франции, покинутой даже ее собственным народом».

В Марселе Бакунин надеялся найти элементы другой революционной попытки; он думал даже, что новое движение было бы возможно в Лионе. 8 октября он писал одному молодому другу, Эмилю Беллерио: «Дело только отложено. Друзья, сделавшись более осторожными, более практичными, деятельно работают как в Лионе, так и в Марселе и скоро мы добьемся реванша под носом у пруссаков... Все, что я вижу здесь, лишь подтверждает мое прежнее мнение о буржуазии: степень ее глупости и подлости превосходит всякое воображение. Народ готов умереть в решительной битве с пруссаками. Они же, напротив, они хотят, они призывают пруссаков в тайниках своего сердца, в надежде, что пруссаки освободят их от патриотизма народа... Я заканчиваю очень подробную брошюру обо всех этих событиях и скоро пришлю ее вам. Выслали ли вам из Женевы, как я просил, мою брошюру под заглавием: Письма к французам?»

Несколько дней спустя, он отправил в Лион Ланкиевича с письмом к своим лионским друзьям, в котором писал:

«Дорогие друзья, Марсель поднимется лишь когда восстанет Лион или же когда пруссаки будут в двух днях пути до Марселя. Значит, еще раз спасение Франции зависит от Лиона. Вам остается три или четыре дня, чтобы делать революцию, которая может все спасти... Если вы думаете, что мое присутствие может быть полезно, телеграфируйте в Лион Комбу следующие слова: *Nous attendons Etienne* (мы ждем Этьена). Я сейчас же выеду».

Но Ланкиевич был арестован⁶ и бумаги, взятые у него, повели к аресту многих лионских революционеров. Вследствие этого неприятного обстоятельства и ввиду того, что его марсельские друзья также находились под угрозой ареста, Бакунин написал 16 октября Огареву, прося у него денег, чтобы иметь возможность, в случае надобности, самому ускользнуть от розыска полиции, в Барселоне или Генуе. В ожидании, он использовал вынужденный досуг в своем убежище (маленькая квартирка в квартале Фаро) для составления брошюры, о которой писал Беллерио; она должна была быть продолжением «Писем к французам». Он уничтожил стр. 81 bis-125 первоначальной рукописи, считая их устаревшими. И для начала этой второй брошюры, в 114 стр., он воспользовался самым текстом начала действительного письма, написанного им Паликсу 29 сентября:

«Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости“ и т. д....

23 октября, он написал своему другу Сентиньону, перебравшемуся из Барселоны в Лион, чтобы принять участие в новом революционном движении, которое рассчитывали вызвать там.

В этом письме, извещая о своем отъезде из Марселя, он говорит:

«Я должен покинуть это место потому, что мне тут решительно нечего делать, и я сомневаюсь, чтобы ты нашел какое-нибудь дело в Лионе. Мой дорогой, я больше совсем не верю в революцию во Франции. Сам народ сделался там доктринером, резонером и буржуа, не хуже настоящих буржуа... Я покидаю эту страну с глубоким отчаянием в сердце. Напрасно я стараюсь убедить себя в противном, — я действительно думаю, что

⁶ Он был освобожден четыре месяца спустя, в феврале 1871 г.

Франция потеряна, сданная пруссакам вследствие неспособности, подлости и скаредности буржуазии».

На другой день, 24-го, Бакунин переодетый отправился в Геную: «он сбрил бороду и свои длинные волосы, писал один друг, провожавший его до корабля⁷, и напялил на глаза синие очки. Преображенный таким образом, он взглянул в зеркало и сказал, говоря о своих преследователях: „*Эти иезуиты заставляют меня принять их облик*“. Три или четыре дня спустя, он прибыл в Локарно.

В своем убежище Бакунин сейчас же предпринял новый труд, оставив незаконченной рукопись в 114 стр., начатую в Марселе.

Это новое сочинение должно было также быть продолжением „Писем к французам“ и тоже начиналось воспроизведением письма Паликсу от 29-го сентября. Он условился со своими женевскими друзьями, чтобы книга, над которой он работал, могла быть напечатана в этом городе в кооперативной типографии. Из одного русского письма, адресованного Огареву 19 ноября, видно, что к этому времени он уже послал ему часть рукописи и что он закончил еще около сорока других листков. Он писал: „Если я не посылаю их тебе сейчас же, так это потому, что мне необходимо иметь их под рукой пока я не закончу изложение одного очень деликатного вопроса⁸ и я еще далеко не предвижу конца моей работы... Это будет не брошюра, но целый том. Знают ли об этом в кооперативной типографии?.. Озеров⁹ пишет мне, что ты берешь на себя корректуру. Прошу тебя, мой друг, попроси Жуковского помочь тебе... и немедленно передай ему прилагаемое письмо.“

Жуковскому¹⁰ он писал: „Я пишу и печатаю теперь не брошюру, но целую книгу. Огарев взялся напечатать ее и править корректуру. Но у него одного не хватит сил, помощи ему, прошу тебя, во имя нашей старой дружбы“.

Однако Бакунин, не продумав предварительно план своей книги, пустился в одно из тех отступлений, которые были для него так привычны и порою заставляли его забывать отправную точку: начиная с 105 листка, рукопись получила заглавие (надписанное автором позже, когда он решил дать этим страницам другое назначение): *Приложение, философское рассуждение о божественном призракe, о реальном мире и о человеке*. (Appendice, considerations philosophiques sur le tantome divin, sur le monde reel et sur l'homme)

Он довел эту рукопись до 256 листка, затем, заметив, без сомнения, что зашел в тупик, он изменил свой план, отказавшись от продолжения начатой философской диссертации (это было, в большей своей части, исследование системы Огюста Конта).

Из написанного он сохранил 80 первых страниц и, отложив в сторону листки 81-256, приложил к стр. 80-й новый листок 81-й, сделавшийся отправным пунктом иного развития этих идей¹¹, после чего продолжал свою работу в этом новом направлении. Это изменение произошло лишь в феврале 1871 г.

Когда, после почти четырехмесячного перерыва наших письменных сношений, я снова вступил в переписку с Бакуниным, – около середины января 1871 г. – я предложил ему свои услуги по части наблюдения за печатанием его труда. Так как книга печаталась в Женеве, он

⁷ Шарль Алерини, сперва профессор Барселонского Колледжа, а позже, в 1871 г. политический эмигрант в Испании. Из Испанской тюрьмы в сентябре 1876 г. Алерини прислал мне описание отъезда Бакунина из Марселя, в качестве материала для будущей биографии великого революционного агитатора.

⁸ Речь шла, как сейчас увидим, о метафизическом обсуждении идеи Бога.

⁹ В. Озеров – русский эмигрант, бывший офицер, принимавший участие в польском восстании 1863 г. Потом он жил несколько лет в Париже, занимаясь сапожным ремеслом, и был известен под именем *Альбера-сапожника*. Во время Нечаевского дела он переехал из Парижа в Женеву и был одним из близких друзей Бакунина.

¹⁰ Николай Жуковский, молодой русский дворянин, эмигрировавший и основавшийся в Женеве; в течение многих лет был очень близок с Бакуниным.

¹¹ Листки 82-256 первой редакции (листок 81 не сохранился) до сих пор еще не изданы.

просил меня, вместо чтения корректуры, просмотреть рукопись до набора. И с 9-го февраля 1871 г. он высылал мне, по мере того, как писал, новые листки, следующие за 80-й стр. Я прочел их и сделал несколько грамматических исправлений. Эти присылки продолжались до 18-го марта, когда я получил листки 273–285. Таким образом были набраны только двести десять первых листов. Сочинение должно было называться: «*La Revolution Sociale ou la dictature militaire*» (Социальная революция или военная диктатура).

18-го марта Бакунин отправился во Флоренцию, куда его призывали личные дела. Он вернулся в Локарно 3-го апреля 5-го апреля он писал Огареву (по русски, письмо напечатанное в переписке) по поводу Парижской Коммуны: «Что думаешь ты об этом движении отчаяния Парижан? Каков бы ни был его исход, нужно признать, что они – молодцы. В Париже нашлось то, чего мы тщетно искали в Лионе и в Марселе: организация и люди, решившиеся идти до конца».

Затем он говорил о своей книге, несколько отпечатанных листов которой он получил через Огарева: «Почему печатают мою книгу на такой серой и грязной бумаге? Я хотел бы дать ей другое название: *Кнута-Германская Империя и Социальная Революция*. Если выпуск еще не закончен – перемените». 9-го апреля он писал: «Первый выпуск должен состоять из восьми листов... Продолжают ли их печатать и достаточно ли денег, чтобы оплатить эти восемь листов? Если нет, какие шаги предприняты для того, чтобы добыть их? Ты, старый друг, наблюдай за тем, чтобы печатание шло хорошо, без ошибок.»

16-го апреля он снова написал Огареву одно из самых интересных писем. Стоит привести целиком ту часть его, которая относится к печатавшемуся труду. Из нее видно мнение самого автора о сущности и о значении этого труда. Характерно и то, как Бакунин отзывается о себе самом (это письмо – по какой то странной случайности – опущено во французском переводе его Переписки):

«Ты пишешь мне, что решили сделать первый выпуск в пять листов. Но ты написал это до получения моего последнего письма¹², в котором я умолял, советовал, просил, *требовал, наконец*, чтобы первый выпуск заключал в себе также всю историю Германии, до крестьянского бунта включительно и чтобы этот выпуск заканчивался перед главою, которую я окрестил: *Исторические софизмы немецких коммунистов*. Я указывал также, что возможно, что это заглавие было изменено или зачеркнуто Гильомом, но не настолько же, конечно, чтобы вы не могли прочесть его. Одним словом, выпуск должен оканчиваться там, где начинаются или, скорее, раньше, чем начинаются философские рассуждения о свободе, человеческом развитии, идеализме и материализме и т. д. Умоляю тебя, Огарев, и вас всех, принимающих участие в издании тома, сделайте, как я вас прошу: это для меня абсолютно необходимо.

Вмещая таким образом в себе всю историю Германии, с крестьянским бунтом, первый выпуск будет в шесть, семь и, может быть, восемь листов. Я не могу высчитать здесь, но вы легко это сделаете. Если он будет больше, чем вы думали раньше, – неважно, ибо ведь ты сам говоришь, что денег имеется на десять листов. Но что может случиться, так это, что материала, предназначенного мною для первого выпуска, не хватит для совершенного заполнения последнего листа (6-го, 7-го или 8-го). Тогда вот что следует сделать:

1) Вышлите мне обратно весь остаток рукописи, т.-е. все, что не войдет в первый выпуск, до 285 листка включительно.

2) Пришлите мне в то же время *последний листок* той части, которая должна составить первый выпуск (оригинал или копию с указанием нумерации, если кто-нибудь будет настолько любезен, что перепишет этот листок). В то же время, попросите в типографии, чтобы сделали подсчет числа моих листов, необходимых для окончания листа. Я тотчас

¹² Речь идет, как видно из последующего, не о письме от 9 апреля, а о другом письме, которое потеряно, если только не допустить, что отрывок из письма от 9 апреля, содержащий просьбу Бакунина, был уничтожен издателем Переписки.

же прибавлю все, что нужно¹³ и два дня спустя, не позже, я вам вышлю то, что напишу. Но не забудь прислать мне этот последний листок, без которого мне будет невозможно писать продолжение.

Прошу тебя, Огарев, сделай милость, удовлетвори мою просьбу, мое законное требование и устрой точно и быстро то, о чем я тебя прошу, и так, как прошу.

Еще раз: это мне необходимо, я тебе объясню почему – при нашем свидании, которое, надеюсь, произойдет скоро.

Ты все требуешь у меня конец. Дорогой друг, я незамедлительно вышлю тебе материал для второго выпуска в восемь листов¹⁴ и все же это еще не будет концом. Пойми же, что я начал, думая написать брошюру, а кончаю книгой. Это чудовищно, да что же делать, раз я сам чудовище? Но книга, хотя и чудовищна, будет жизненной и полезной для чтения. Она почти целиком написана. Остается лишь отделать ее. Это моя первая и последняя книга, мое завещание. Поэтому, мой дорогой друг, не противоречь мне. Ты знаешь, невозможно отказаться от дорогого проекта, от последней идеи, или даже изменить их. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Остается лишь вопрос денежный. Набрали всего на десять листов, будет же не менее двадцати четырех. Но не беспокойся: я принял меры для того, чтобы собрать необходимую сумму. Существенно, что сейчас есть достаточно денег для напечатания первого выпуска в восемь листов. Итак, печатайте и издавайте смело этот первый выпуск, таким, как я вас прошу (а не таким, как вы проектировали). Бог посылает день, Бог даст и хлеба.

Мне кажется, это ясно. Сделайте же, как я прошу, быстро и точно, и все будет хорошо.

...И если возможно еще изменить, назовите мою книгу так: *Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция*».

Автору не понадобилось писать еще, распространя содержание последнего листка части рукописи, предназначенной для первого выпуска. Случилось так, что этот листок, помеченный – 138, соответствовал 119 странице печатного текста, посередине восьмого листа, так, что можно было разрезать его на указанном месте.

Итак, в последних числах апреля закончили выпуск брошюры в тысяче экземпляров, сделав его в семь с половиной листов.

Увы, когда Бакунин получил этот первый выпуск, он отступил в ужасе. Отчаянные опечатки громоздились на каждой странице.¹⁵

Бакунин попросил меня немедленно отпечатать список опечаток (Errata), который он, в порыве гнева, не хотел даже заказывать в кооперативной типографии. Я отдал в набор и печать перечень опечаток, который он мне прислал. Затем, по получении из Женевы рукописи выпуска, о чем я просил, чтобы иметь возможность сравнить печатное с оригиналом, я сделал еще добавление к Errata, указав лишь наиболее необходимые исправления. Кроме того, я отпечатал, по просьбе автора, красную обложку, с заглавием: *«Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, Михаила Бакунина. Первый выпуск. Женева, у всех книготорговцев. 1871»*. И этой обложкой была заменена прежняя – простая цветная рубашка, подклеенная к брошюре в Женеве.

Бакунин, живший в Швейцарской Юре (в Сонвилле и в Локле) с 23 апреля по 29 мая, вернулся в Локарно 1 июня 1871 г. Он взял у меня листки 139–285 своей рукописи, чтобы

¹³ Это означает, что Бакунин, возвращаясь к теме, трактуемой в последнем листке, прибавит новое развитие ее, чтобы снабдить типографию материалом для окончания и заполнения последнего листа выпуска. Без этого были бы вынуждены для заполнения его, поместить начало главы *«Исторические софизмы немецких коммунистов»*, припасенной для второго выпуска.

¹⁴ Т.-е., вступив во владение частью своей рукописи, которая не была предназначена для первого выпуска, он пошлет Огареву для второго выпуска достаточное количество листов этой рукописи, уже просмотренных мною и которые он сам хотел пересмотреть перед напечатанием.

¹⁵ Выпускаем ряд примеров чудовищных опечаток. (Прим. пер.).

обработать их¹⁶, и немного дней спустя после своего возвращения он принялся, – как видно из его записной книжки, – за составление *Предисловия* для второго выпуска *Кнута-Германской Империи*. Он написал всего четырнадцать листов.

Необходимые для издания этого второго выпуска деньги не могли, к сожалению, быть собраны в то время. И скоро, увлеченный другими занятиями, своей полемикой в Мадзини, затем своей борьбой с Карлом Марксом, Бакунин отказался от продолжения издания этого труда, который одно время был так близок его сердцу и о котором он сказал Огареву, что это «его завещание».

Одиннадцать лет спустя, в 1882 г., шесть лет после смерти Бакунина, листки 149–247 рукописи (за исключением потерянных листов 211–213) были напечатаны в Женеве заботами Карло Кафиеро и Элизе Реклю, под заглавием их собственного изобретения: «*Бог и Государство*». Два издателя и не подозревали, что листки, озаглавленные ими так, были отрывком того, что должно было образовать второй выпуск «*Кнута-Германской Империи*». Листки 248–285 еще не изданы. Бакунин написал еще, я не знаю, когда именно, пятьдесят пять новых листов, помеченных 286–340, которые представляют из себя длинное примечание, относящееся к последней фразе 285 листка. Содержимое этих пятидесяти пяти листов было издано в 1895 г. д-ром Максом Неттлау – под тем же заглавием «*Бог и Государство*», которое выбрали и издатели 149–247 листов на страницах 263–326 тома, озаглавленного *Michel Bakounine: OEuvres* (Pans, Stock).

Что же касается четырнадцати листов, написанных в июне-июле 1871 г. для *Предисловия ко второму выпуску*, начало этого предисловия появилось под заглавием «*Парижская Коммуна и понятие о Государственности*», благодаря Элизе Реклю, в Женевском «*Travailleur*» («Работник») в 1878 г.

Полное содержимое 14 листов было издано затем в Париже в 1892 г., под тем же заглавием, Бернардом Лазар в «*Политических и Литературных Разговорах*». Другая маленькая незаконченная рукопись (48 рукописных страниц), названная «*Предостережение*» также была предназначена служить предисловием либо для второго выпуска *Кнута-Германской Империи*, либо, скорее, ко всему труду на случай полного издания с перепечаткой первого выпуска. Она также была составлена во второй половине 1871 г., после Коммуны; она осталась неизданной.

Дж. Гильом.
1907 г.

¹⁶ Содержимое листов 139–210 этой рукописи было набрано в Женеве в кооперативной типографии, но не должно было войти в первый выпуск. Этот набор (оставшийся неиспользованным – корректурные оттиски его сохранились в бумагах Бакунина) содержал главу под названием: *Исторические Софизмы доктринерской школы немецких коммунистов*.

Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция

17

29 Сентября 1870 г. Лион.

Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность не позволяет мне притти еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции снова сделалось ныне делом Человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы, с точки зрения свободы и человеческого прогресса, величайшим несчастьем, какое только может постигнуть Европу и весь мир.

Я принял участие в минувшем движении и подписал свое имя под резолюциями *Центрального Комитета Спасения Франции*, потому что для меня очевидно, что после действительного и полного разрушения всей административной и правящей машины вашей страны, для Франции не остается больше другого средства спасения, как самопроизвольные, немедленные и революционные восстания, организация и федерация ее коммун вне какой бы то ни было официальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, составленные в большей части из буржуа или обуржуазившихся рабочих; людей практической сноровки, если только таковая была у них, лишенных интеллигентности, энергии и страдающих отсутствием добросовестности; все эти прокуроры Республики, префекты, супрефекты и особенно – эти чрезвычайные комиссары, снабженные военными и гражданскими полномочиями, призрачной и роковой властью этого обломка правительства, заседающего в Туре, в час бессильной диктатуры, – все это годно лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и сдать ее Пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно осталось победоносным, – а оно осталось бы таковым, если бы генерал Клюзере, слишком стремившийся угодить всем партиям, не покинул так скоро дела народа, – это движение, которое, опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона, заместил бы его революционным комитетом, – всемогущим, ибо он был бы не фиктивным, а непосредственным и истинным выражением народной воли; это движение, говорю я, могло бы спасти Лион, а с Лионом и Францию.

Вот уже двадцать пять дней истекло со времени провозглашения Республики, а что сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего!

Лион – вторая столица Франции и ключ Юга. Помимо задачи своей собственной обороны, на нем лежит двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж.

Он мог, он может еще сделать и то и другое. Если Лион восстанет, он неизбежно увлечет за собой весь Юг Франции. Лион и Марсель сделаются двумя полюсами чудовищного национального и революционного движения; движения, которое, разом поднимая деревни и

¹⁷ Как видно из предисловия, заглавие, напечатанное первоначально в брошюре, на этом месте, но затем исправленное в «опечатках», было «Социальная Революция или военная диктатура. Михаила БАКУНИНА. Женева, Кооперативная Типография, route de Carouge, 8. 1871».

города, возбудит сотни тысяч сражающихся и противопоставит по военному-организованным силам нашествия всемогущество революции.

Напротив того, для всех должно быть очевидно, что если Лион попадет в руки пруссакам, Франция безвозвратно потеряна. От Лиона до Марселя они не встретят больше препятствий. А что тогда? Тогда Франция делается тем же, чем так долго – слишком долго – была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом Его Величества императора Германии. Можно ли пасть ниже?

Только Лион может уберечь Францию от такого падения и такой постыдной смерти. Но для этого нужно было бы, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни дня, ни мгновения. Пруссаки, к несчастью, не теряют больше времени. Они разучились спать: систематические, как истые немцы, преследуя с безнадежной точностью свои искусно скомбинированные планы и присоединяя к этому классическому качеству своей расы быстроту действий, до сих пор считавшуюся исключительной принадлежностью французских войск, они решительно и более чем когда либо, угрожающе, продвигаются вперед, к самому сердцу Франции. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

И однако, с тех пор, как Франция существует, никогда еще она не находилась в более безнадежном, более ужасном положении.

Вся армия ее разрушена. Большая часть ее военного материала, благодаря честности императорского правительства и администрации, существовала лишь на бумаге, остальная же часть, благодаря их осторожности, была так хорошо запрятана в крепостях Метца и Страсбурга, что послужит, вероятно, гораздо больше вооружению наступающих пруссаков, нежели национальной обороне. Эта последняя во всех уголках Франции нуждается ныне в пушках, снарядах, ружьях, и – что еще хуже – ей не хватает денег для покупки всего необходимого. Не то чтобы буржуазия Франции испытывала нужду в деньгах. Напротив, благодаря покровительственным законам, которые позволяли ей широко эксплуатировать труд пролетариата, ее карманы хорошо набиты. Но деньги буржуа отнюдь не патриотичны и упорно предпочитают в настоящее время эмиграцию, и даже насильственную реквизицию пруссаками, риску быть призванными содействовать спасению отечества в опасности. Наконец, я должен сказать, что у Франции нет больше администрации. Та, что существует еще и которую правительство Национальной Обороны имело преступную слабость удерживать, есть лишь бонапартистская машина, созданная для специального обслуживания разбойников Второго Декабря. Она, как я уже сказал в другом месте, способна не организовать, но лишь до конца предать Францию и выдать ее Пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество Государств, Франция уже больше не Государство. Это – огромная страна, богатая, интеллигентная, исполненная возможностей и природных сил, но совершенно дезорганизованная и осужденная, при всей этой ужасной дезорганизации, защищаться против самого убийственного нашествия, какое только когда либо обрушивалось на нацию. Что она может противопоставить Пруссакам? Одну лишь внезапную организацию огромного народного восстания, *Революцию*.

Здесь я слышу всех сторонников общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеров, адвокатов, всех этих эксплуататоров в желтых перчатках буржуазного республиканства и даже изрядное количество так называемых представителей народа, как например ваш гражданин Бриалу, перебежчиков от народного дела, которых жалкое, вчера рожденное честолюбие, сегодня толкает в стан буржуазии; – я слышу, как они восклицают:

«Революция! Подумайте, ведь это было бы верхом несчастья для Франции! Это было бы междоусобным раздором, гражданской войной в виду давящего, уничтожающего нас врага! Самое абсолютное доверие правительству Национальной Обороны; полнейшее послушание военным и гражданским чиновникам, коих оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных

воззрений, между всеми классами и всеми партиями, – вот единственное средство спасти Францию!».

Доверие порождает единение, а единение создает силу, вот истины, которых, конечно, никто не будет пытаться отрицать. Но, чтобы это были истины, необходимы две вещи: нужно, чтобы доверие не было глупостью и чтобы единение, одинаково искреннее со стороны всех, не было самообманом, ложью или лицемерной эксплуатацией одной партии другою. Нужно, чтобы все объединяющие партии, совершенно забывая – конечно, не навсегда, но на все время, пока будет длиться их союз – свои частные и необходимо противоположные интересы, – интересы и цели, разделяющие их в обычное время, в равной мере были поглощены преследованием общей цели. Иначе что произойдет? Искренняя партия поневоле делается жертвой и будет одурачена той, которая будет менее искренней или совершенно неискренней. Она увидит себя принесенной в жертву не ради торжества общего дела, но в ущерб этому делу и ради исключительной выгоды партии, которая сумеет лицемерно эксплуатировать этот союз.

Разве не необходимо для того, чтобы единение было действительно возможным, чтобы по крайней мере цель, во имя которой партии должны объединиться, была одна и та же. А так-ли это ныне? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят абсолютно одного и того же? Отнюдь нет!

Рабочие Франции хотят спасения Франции любой ценою: даже если бы для спасения ее пришлось бы из Франции сделать пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого буржуа: собственности, капиталы, промышленность и торговлю. Одним словом превратить целую страну в одну огромную могилу, чтобы похоронить пруссаков.

Они хотят войны до последней крайности, варварской войны на ножах, если нужно. Не имея никаких материальных благ для принесения в жертву, они отдают свою жизнь. Многие из них и именно – большая часть тех, кто состоит членами Международной Ассоциации Рабочих, вполне сознают высокую миссию, выпавшую ныне на долю пролетариата Франции. Они знают, что если Франция падет, дело человечества в Европе погибнет по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но перед целым миром.

Эти идеи распространены, конечно, лишь среди наиболее передовых рабочих, но все рабочие Франции, без всякого различия, инстинктивно понимают, что порабощение их страны под иго пруссаков было бы смертью их надежд на будущее. И они решились скорее умереть, чем завещать своим детям существование жалких рабов. Они хотят, следовательно, спасения Франции любой ценой и во что бы то ни стало.

Буржуазия, или по меньшей мере громадное большинство этого почтенного класса, хочет совершенно противоположного. Что ей важнее всего, так это сохранность, во что бы то ни стало, ее домов, ее собственности и ее капиталов. Не столько целостность национальной территории, сколько целость ее карманов, наполненных благодаря труду пролетариата, эксплуатировавшегося ею под сенью национальных законов. В глубине души своей, не смея публично признаться в этом, она хочет, следовательно, мира во что бы то ни стало, хотя бы пришлось купить его ценою уменьшения, упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют не только различные, но и абсолютно противоположные цели, каким чудом действительный и искренний союз мог бы установиться между ними? Ясно, что, столь рьяно проповедуемое соглашение всегда останется чистой ложью. Ложь убила Францию. Неужели надеются, что ложь же вернет ей жизнь? Сколько бы ни осуждали рознь, она не перестанет фактически существовать. А раз она существует, раз самую силою вещей она должна существовать, было бы мальчишеством, скажу даже больше, было бы губительно с точки зрения спасения Франции игнорировать ее,

отрицать ее, совершенно не признавать открыто ее существование. Итак, раз спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, принесите в жертву все ваши интересы, все ваши честолюбия и все ваши личные разделения. Забудьте и принесите в жертву, на сколько возможно будет сделать это, все партийные разногласия. Но во имя этого самого спасения, остерегайтесь всяких иллюзий, ибо в нынешнем положении вещей иллюзии смертельны. Ищите союз, лишь с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как вы сами, хочет спасти Францию *любою ценою*.

Когда идут навстречу огромной опасности, не лучше ли идти в малом количестве, с полной уверенностью не быть покинутым в момент борьбы, нежели тащить за собой целую толпу ложных союзников, которые предадут вас при первой же стычке?

* * *

С дисциплиной и доверием дело обстоит так же, как и с единением.

Все это прекрасные вещи, когда они направлены надлежащим образом. Но они пагубны, когда ими наделяют незаслуживающих их людей. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что отношусь с большим недоверием к тем, у кого слово дисциплина не сходит с языка. Она в высшей степени опасна, особенно во Франции, где дисциплина чаще всего означает, с одной стороны – деспотизм и с другой, – автоматизм. Во Франции мистический культ власти, любовь к командованию и привычка подчиняться командованию разрушили в обществе, равно как и в огромном большинстве индивидов, всякое чувство свободы, всякую веру в самопроизвольный и живой порядок, который создать может одна лишь Свобода. Скажите им о свободе и они сейчас же завопят об анархии. Ибо им кажется, что едва перестанет действовать дисциплина государства, всегда угнетающая и насильственная, все общество должно заняться междоусобной бранью и рухнуть. В этом то и кроется секрет поразительного рабства, которое французское общество переносит с того времени, как оно произвело свою Великую Революцию. Робеспьер и Якобинцы завещали ему культ дисциплины Государства. Этот культ, вы его обрящете целиком во всех ваших буржуазных республиканцах – официальных и неофициальных, – а он то и губит ныне Францию.

Он ее губит, парализуя единственный источник и единственное средство освобождения, остающиеся для нее: свободное приложение народных сил. Он губит ее также, заставляя ее искать свое спасение во власти и в призрачном действии государства, которое ныне представляет собою лишь тщетные деспотические претензии, сопровождаемые абсолютным бессилием.

При всей своей враждебности к тому, что во Франции зовется дисциплиной, я признаю тем не менее, что известная дисциплина, не автоматическая, но добровольная и продуманная, прекрасно согласуемая со свободой индивидов, необходима и всегда будет необходима когда многие индивиды, свободно объединившись, предпримут какую-нибудь работу или какие либо коллективные действия. При таких условиях такая дисциплина ни что иное, как добровольное и обдуманное согласование всех индивидуальных усилий, направленных к общей цели.

В момент действия, в разгар борьбы, роли, конечно, распределяются, сообразно способностям каждого, оцененным и выясненным целым коллективом; одни управляют и распоряжаются, другие исполняют распоряжения. Но никакая роль не окаменеет, не закрепляется и не остается неотъемлемой принадлежностью кого бы то ни было. Иерархический строй и повышения не существуют, так что вчерашний распорядитель, сегодня может сделаться подчиненным. Никто не возвышается над другими, или, если возвышается, то лишь для того, чтобы, немного спустя, снова пасть подобно морской волне, вечно возвращающаяся к спасительному уровню равенства.

В этой системе, в сущности, нет больше власти. Власть растворяется в коллективе и делается действительным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли всех, каждый повинуетя лишь потому, что дежурный начальник приказывает ему лишь то, чего он сам хочет.

Вот истинно человеческая дисциплина, дисциплина необходимая для организации свободы. Совсем не такова дисциплина, проповедуемая вашими республиканскими государственными людьми. Они хотят старой французской дисциплины, автоматической, рутинной, слепой.

Начальник – не выбранный свободно и лишь на один день, но навязанный Государством надолго, если не навсегда, – приказывает и нужно подчиняться. Спасение Франции, говорят вам они, и даже свобода Франции, возможна лишь этой ценою. Пассивное повиновение – основа всех деспотизмов, будет, следовательно, также краеугольным камнем, на коем вы будете основывать вашу республику.

Но если мой начальник приказывает мне обратить оружие против этой самой республики или выдать Францию Пруссакам, должен я повиноваться ему или нет? Если я буду ему повиноваться, я предам Францию, а если ослушаюсь, я нарушу, разобью дисциплину, которую вы хотите мне навязать, как единственное средство спасения для Франции.

И не говорите, что эта дилемма, которую я прошу вас разрешить, праздная дилемма. Нет, она животрепещущей злободневности, ибо как раз над разрешением ее бьются сейчас ваши солдаты. Кто не знает, что их начальники, их генералы и громадное большинство их высших офицеров преданы душой и телом императорскому режиму? Кто не видит, что они открыто и повсюду составляют заговоры против республики? Что должны делать солдаты? Если они будут повиноваться, они предадут Францию. А если ослушаются, они разрушат то, что у вас остается от правильно организованных войск.

Для республиканцев, сторонников Государства, общественного порядка и дисциплины во что бы то ни стало, эта дилемма не разрешима. Для нас, революционеров-социалистов, она не представляет никакой трудности. Да, они должны ослушаться, они должны взбунтоваться, они должны разбить эту дисциплину и разрушить современную организацию регулярных войск, они должны во имя спасения Франции разрушить этот призрак государства, бессильный для добра, могущественный для зла. Потому что спасение Франции может притти теперь лишь от единой действительной силы, остающейся у Франции, – от Революции.

* * *

Что же сказать об этом доверии, которое вам рекомендуют ныне, как наивысшую добродетель республиканцев? Некогда, в бытность их подлинными республиканцами, они рекомендовали демократии быть недоверчивой. Впрочем, не было даже нужды советовать это: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также и вследствие исторического опыта: ибо во все времена она была жертвой и бывала обманута всеми честолюбцами, всеми интриганами, как целыми классами так и отдельными индивидами, которые под предлогом направления и ведения ее к надежной пристани, вечно эксплуатировали и обманывали ее. Она до сих пор только и делала, что служила ступенькой для их подъема. Теперь господа республиканцы от буржуазного журнализма советуют ей доверять. Но кому и чему? Кто они такие, чтобы сметь рекомендовать доверие и что они сделали, чтобы заслужить его сами? Они писали фразы слабоокрашенные республиканизмом, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом по столько то за строчку. И сколько маленьких Оливье в зародыше между ними! Что общего между ними, корыстными и рабскими защитниками интересов имущего, эксплуатирующего класса и – пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания рабо-

чего люда, к которому осмеливаются пренебрежительно обращать свои выговоры и советы? Сочувствовали ли хотя бы они этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права работников от буржуазной эксплуатации? Наоборот, всякий раз, как великий вопрос века, экономический вопрос бывал поставлен, они становились апостолами буржуазной доктрины, осуждающей пролетариат на вечную нищету и на вечное рабство, в пользу свободы и материального процветания привилегированного меньшинства.

Вот каковы люди, считающие себя в праве рекомендовать народу доверие. Посмотрим же, кто заслуживал и кто заслуживает ныне доверия?

Не буржуазия ли? – Но, не говоря даже о реакционном бешенстве, которое этот класс выказал в июне 1848 и об угодливой и раболепной подлости, доказательства коей она давала двадцать пять лет подряд, во время президентства, равно как и царствования Наполеона III: не говоря о безжалостной эксплуатации, при помощи которой они перевели в свои карманы весь продукт народного труда, оставив едва самое необходимое несчастным наемникам; не говоря о ненасытимой жадности и о той жестокой и подлой скупости, которые, основывая все процветание буржуазного класса на нищете и на экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа, – посмотрим, каковы могут быть *нынешние* права этой буржуазии на доверие народа?

Несчастья Франции не переродили ли ее разом? Не сделалась ли она снова истинно-патриотической, республиканской, демократической, народной и революционной?

Выказала ли она расположение подняться массами и отдать свою жизнь и свой кошелек для спасения Франции? Раскаялась ли она в своих прежних несправедливостях, в своих бесчестных недавних изменах и бросилась ли она снова откровенно в объятия народа, полная доверия к нему? Не встала ли она в сердечном порыве, во главе народа, чтобы спасти страну?

Мой друг, не правда ли, – достаточно поставить эти вопросы, чтобы все при виде того, что происходит ныне, быть вынужденным ответить на них отрицательно.

Увы! буржуазия отнюдь не изменилась, не исправилась, не раскаялась. Ныне, как вчера и даже больше, чем вчера, выведенная на чистую воду обличительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она выказала себя черствой, эгоистической, жадной, узкой, глупой, одновременно грубой и раболепной, свирепой, когда она считает возможным быть таковой без большой опасности для себя, как в скверной памяти июньские дни, всегда распростертою ниц перед властью и публичной силой, от которой она ждет своего спасения, и – врагом народа всегда и во чтобы то ни стало.

Буржуазия ненавидит народ по причине всего того зла, которое она сделала ему: она ненавидит его потому, что видит в нищете, невежестве и рабстве этого народа свое собственное осуждение, ибо она знает, что она слишком заслужила народный гнев и потому что она чувствует себя угрожаемой во всем своем существовании этим гневом, который день ото дня становится более напряженным и более раздраженным. Она ненавидит народ потому, что он страшен ей; она его ненавидит ныне вдвойне, потому что единственный искренний патриот, разбуженный от своего оцепенения несчастьем Франции, которая, впрочем, как и все отечества мира, были лишь мачехой для него, народ – осмелился подняться. Он осознает себя, подсчитывает свои силы, организуется, начинает говорить громко, петь *Марсельезу* на улицах и производимым им шумом, угрозами, которые он уже бросает по адресу изменников Франции, нарушает общественный порядок, смущает нечистую совесть и лишает спокойствия господ буржуа.

Доверие приобретается лишь доверием. Оказала ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Далеко нет! Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, напротив того, что ее недоверчивость к нему, переходит всякие пределы. До такой степени, что в момент,

когда интерес и спасение Франции с очевидностью требует, чтобы весь народ был вооружен, она не хотела дать ему оружие.

Когда народ пригрозил взять его силою, она должна была уступить. Но выдав ему ружья, она сделала все возможные усилия, чтобы не дать ему патронов. Она должна была еще раз уступить. И вот теперь когда народ вооружен, он сделался от этого лишь более опасным и более ненавистным в глазах буржуазии.

По причине ненависти к народу и страха перед ним буржуазия отнюдь же хотела и не хочет республики. Не забудем никогда, дорогой друг: в Марселе, Лионе, Париже, во всех крупных городах Франции отнюдь не буржуазия, но народ, рабочие провозгласили республику. В Париже это даже были не мало ревностные, неустойчивые республиканцы Законодательного Корпуса, ныне почти все – члены правительства Национальной Обороны; это были рабочие кварталов Виллетт и Бельвиль, которые провозгласили ее против желания и ясно выраженного намерения этих своеобразных вчерашних республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, заставили их потерять вкус к республике. Не забудем, что 4 сентября, когда рабочие Бельвиля встретили г. Гамбетта и приветствовали его возгласами: «Да здравствует Республика»! он ответил им такими словами: «Да здравствует Франция, *говорю я вам*».

Г. Гамбетта, как и все другие, отнюдь не хотел республики. Революции он хотел еще меньше. Мы знаем впрочем это по всем речам, произнесенным им с тех пор, как его имя привлекло к нему внимание публики. Г. Гамбетта очень хочет называться государственным человеком, *умным, умеренным, консервативным, рациональным и позитивистским республиканцем*¹⁸, но он в ужасе перед революцией. Он хочет управлять народом, но отнюдь не быть управляемым им. Поэтому не направлялись ли 3 и 4 сентября все усилия г. Гамбетта и его коллег радикальной левой Законодательного Корпуса к одной единственной цели: избежать всеми силами установления правительства, исшедшего из народной революции. В ночь с 3 на 4 сентября, они употребили неслыханные усилия, чтобы заставить бонапартистскую правую и Министерство Паликао принять проект г. Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всей радикальной левой; проект, который требовал ни больше, ни меньше, как установления *Правительственной Комиссии*, легально назначенной Законодательным Корпусом, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве и не ставя другого условия, кроме вхождения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти махинации были разбиты народным движением, которое вспыхнуло вечером 4 сентября. Но даже в разгаре восстания рабочих Парижа, в то время, как народ наводнил трибуны и залу Законодательного Корпуса, г. Гамбетта, верный своей мысли систематически-антиреволюционной, рекомендовал еще народу хранить молчание и уважать *свободу прений (!)*, чтобы не могли сказать, что правительство, которое должно было быть избрано голосованием Законодательного Корпуса, составлено под насильственным давлением народа.

Как истый адвокат, сторонник легальной фикции во что бы то ни стало, г. Гамбетта думал, без сомнения, что правительство, которое будет назначено этим Законодательным Корпусом, вышедшим из императорского подлога и заключающим в своих недрах самые примечательные бесчестия Франции, было бы в тысячу раз более внушительно и более почтенно, чем правительство, приветствуемое отчаянием и негодованием проданного народа. Эта любовь к конституционной лжи до такой степени ослепила г. Гамбетту, что он, несмотря на весь свой ум, не понял, что никто не смог бы и не захотел бы верить в свободу голоса, имевшего место при подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, перепуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и

¹⁸ См. письмо в *Progres de Lyon*. [Примеч. Бакунина].

презрения, разбежалось; и г. Гамбетта, оставшись в зале Законодательного Корпуса один со своими коллегами радикальной левой, увидел себя вынужденным, конечно, против своей воли, отказаться от своей мечты о легальной власти и примириться с тем, что народ передал в руки этой левой власть революционную. Я скажу сейчас, какое жалкое употребление сделал он и его коллеги в течении четырех недель, истекших с 4 сентября из этой власти, доверенной им народом Парижа для того, чтобы они вызвали во всей Франции спасительную революцию, но которую до сего времени они пользовались напротив, лишь для того, чтобы повсюду парализовать революцию.

В этом отношении г. Гамбетта и все его коллеги по Правительству Национальной Обороны были лишь слишком верным выражением чувств и преобладающей мысли буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение их отечества Социальною Революцией – а иной революции, кроме социальной, в настоящее время быть не может, – или же порабощение его под игом пруссаков? Если они осмелятся быть искренними, лишь бы они находились в положении, которое позволило им без риска высказать всю их мысль, девять десятых... что я говорю! девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных, ответят вам, не колеблясь, что революции они предпочитают порабощение. Спросите их еще: в случае, если бы для спасения Франции оказалось необходимым пожертвовать значительной частью их собственности, их благ, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя расположенными к такой жертве? Или же, употребляя риторическую фигуру г. Жюль Фавра, они действительно готовы скорее быть погребенными под развалинами своих вилл и домов, нежели отдать их пруссакам? Они вам единодушно ответят, что они предпочитают выкупить их у Пруссак. Думаете ли вы, что если бы парижские буржуа не находились на глазах и под рукой – всегда угрожающей – парижских рабочих, Париж оказал бы Пруссакам столь славное сопротивление?

* * *

Не клеветашу ли, однако, я на буржуазию?

Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. И к тому же, теперь существует, очевидное и ясное, неотразимое доказательство истинности, справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Недобросовестность и равнодушие буржуазии слишком ярко проявились в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны разорены; что нет ни одного су в кассах того самого правительства Национальной Обороны, которое господа буржуа будто бы поддерживают теперь так ревностно и горячо. Все понимают, что это правительство не может наполнить кассы обычными способами займов и налогов. Непризнанное правительство не может найти кредита; что же касается дохода от налогов, доход этот свелся к нулю. Часть Франции, включающая в себя наиболее промышленные, наиболее богатые провинции, занята пруссаками и систематически ими грабится. Повсюду в других местах торговля, промышленность, все деловые сделки остановились. Косвенные налоги не дают больше ничего или почти ничего. Прямые налоги уплачиваются с безграничными трудностями и безнадежной медленностью. И все это в такой момент, когда Франция нуждалась бы во всех своих ресурсах и во всем своем кредите чтобы оплачивать чрезвычайные, неисчислимые, гигантские расходы национальной обороны. Самые неопытные в делах люди должны понять, что если Франция не найдет немедленно денег, большого количества денег, ей невозможно будет продолжать свою защиту против нашествия Пруссак. Лучшее, чем кто бы то ни было, должна понять это буржуазия, проводящая всю жизнь в возне с делами и не признающая иного могущества, кроме денежного. Она должна также понять, что, так как Франция не может больше добыть себе всех необходимых для своего спасения денег обычными для государства средствами, она вынуждена, – это ее право и обязанность, – брать их там,

где они имеются. А где же они имеются? Конечно, не в карманах несчастного пролетариата, которому буржуазная скупость едва оставляет чем питаться; следовательно – единственно, исключительно в несгораемых шкафах господ буржуа. Они одни обладают деньгами, необходимыми для спасения Франции. Предложили ли они свободно, по собственному почину, хотя бы малую часть своих капиталов?

Я возвращусь еще, дорогой друг, к денежному вопросу, являющемуся главным вопросом, когда нужно оценить искренность чувств, принципов и патриотизма буржуа. Общее правило: хотите вы безошибочно узнать, серьезно ли хочет буржуа того или иного? Спросите, готов ли он для достижения этого на денежную жертву. Ибо будьте уверены, когда буржуа страстно хочет чего-нибудь, он не отступит ни перед какой денежной жертвой. Не затратили ли они безграничные суммы, чтобы убить, задушить республику 1848 г.? И позже не вотировали ли они с увлечением все налоги и займы, предложенные Наполеоном III и не нашли ли они в своих несгораемых ящиках баснословные суммы, чтобы подписаться на все эти займы? Наконец предложите им, укажите им способ восстановить во Франции хорошую монархию – весьма реакционную, весьма сильную, которая вернула бы им, вместе с дорогим общественным порядком и спокойствием улиц, экономическое господство, ценную привилегию эксплуатировать нищету пролетариата без жалости, без стыда, легально, систематически, и – вы увидите, останутся ли они глухи!

Обещайте им только, что, по изгнании Пруссиков с французской территории, восстановят эту монархию с Генрихом ли V, или с Дюком Орлеанским или даже с одним из отпрысков бесчестного Бонапарта и будьте уверены, их несгораемые ящики сейчас же раскроются, и они найдут там все необходимые для изгнания Пруссиков средства. Но им обещают Республику, царство демократии, власть народа, освобождение народной черни. Они совсем не хотят ни вашей республики, ни подобного освобождения и доказывают это, держа закрытыми свои сундуки и не жертвуя ни одного су.

Вы знаете лучше, чем я, дорогой друг, какова была участь несчастного займа для организации обороны Лиона, выпущенного муниципалитетом этого города. Сколько человек подписалось? Такое ничтожное количество, что сами проповедники буржуазного патриотизма почувствовали унижение, отчаяние, безутешность.

И после этого рекомендуют народу иметь доверие к буржуазии! У нее самой хватает нахальства, цинизма просить, – что я говорю – требовать доверия! Она имеет претензию одна править и вести дела республики, которую в глубине сердца проклинает. Во имя республики она старается установить и усилить свой авторитет и свое исключительное господство, поколебленное на момент. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для рабочих перебежчиков, которые так счастливы восседать среди господ буржуа. Какое же употребление делают они из захваченной таким образом власти? Об этом можно судить, рассматривая деяния вашего муниципалитета.

Но, мне скажут, вы не имеете права нападать на муниципалитет, ибо избранный после революции самим народом путем прямого голосования он есть создание всеобщего избирательного права! В качестве такового он должен быть священным для вас.

* * *

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, я не разделяю ни в малейшей мере суеверного преклонения перед всеобщим избирательным правом ваших радикальных буржуа или ваших буржуазных республиканцев. В другом письме я изложу вам причины, не позволяющие мне восторгаться им. Здесь мне достаточно принципиально установить истину, которая мне кажется неоспоримой, и которую мне не трудно будет позже доказать как путем рассуждения, так и большим количеством фактов, почерпнутых в политической жизни всех стран,

пользующихся в настоящий момент республиканскими и демократическими учреждениями. А именно: *пока избирательное право будет осуществляться в обществе, где народ, рабочая масса экономически подчинены меньшинству, владеющему собственностью и капиталом, насколько бы независимым или свободным ни был или скорее ни казался народ в политическом отношении, выборы никогда не могут быть иными, как призрачными, антидемократическими, и абсолютно противоположными нуждам, инстинктам и действительной воле населения.*

Не были ли все выборы, непосредственно произведенные народом Франции со времени Декабрьского переворота, диаметрально противоположными интересам этого народа, и последнее голосование императорского плебисцита не дало ли семь миллионов «да» императору? Скажут, конечно, что при империи всеобщее голосование никогда не было свободно осуществляемо, ибо свобода прессы, союзов и собраний – основные условия политической свободы – были отменены, и беззащитный народ предоставлен развращающему воздействию субсидируемой прессы и бесчестной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 г. в Учредительное Собрание и выборы президента, равно как и выборы в мае 1849 г. в Законодательное Собрание, были, я полагаю, абсолютно свободны. Они производились помимо какого бы то ни было давления или даже официального вмешательства, при соблюдении всех условий самой абсолютной свободы. И однако что они дали? Ничего кроме реакции.

«Один из первых актов Временного Правительства, говорит Прудон¹⁹, акт, за который оно себе больше всего апплодировало, это – применение всеобщего избирательного права. В самый день обнародования декрета мы писали эти самые слова, которые тогда могли сойти за парадокс: *Всеобщее избирательное право это – контр-революция.* Можно судить по событиям, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были произведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, приверженцами династии, всем, что только имеется во Франции наиболее реакционного, наиболее отсталого. И иначе быть не могло».

Да, это не могло, и ныне в настоящий момент это еще не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни будет попрежнему преобладать в общественной организации, пока общество будет попрежнему разделено на два класса, из которых один, эксплуатирующий и привилегированный, будет пользоваться всеми преимуществами состояния, образования и досуга, а другой, включающий в себя всю массу пролетариата, на свою долю будет получать лишь насильственный, убивающий ручной труд, невежество, нищету с их неизбежным спутником – рабством – не по закону, но на деле.

Да, это есть рабство, ибо, как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, подлинных каторжников голода, вы никогда не дойдете до того, чтобы их оградить от порочного влияния, от естественного господства различных представителей привилегированного класса, начиная от священника и до самого якобинского, самого красного буржуазного республиканца: представителей, которые как бы ни казались или как бы на самом деле ни были несогласны между собою в вопросах политических, тем не менее объединены в общем и высшем интересе: эксплуатации нищеты, невежества, политической неопытности и доверчивости пролетариата на пользу экономического господства владеющего класса.

Как мог бы противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики пролетариат деревни и города? Для самозащиты у него лишь одно оружие – инстинкт, который почти всегда стремится к истинному и справедливому, потому что он сам есть главная, если не единственная, жертва несправедливости и обмана, царствующих в современном обществе, и потому что угнетенный привилегиями он естественно требует равенства для всех.

¹⁹ Революционные идеи.

Но инстинкт — не достаточное оружие для спасения пролетариата от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт, предоставленный самому себе, и поскольку он не превратился еще в сознательно обдуманную, ясно определенную мысль, легко дает сбить себя с пути, подменить и обмануть. Подняться же до осознания себя самого для него невозможно без помощи образования, науки; а наука, знание дел и людей, политический опыт совершенно отсутствуют у пролетариата. Последствия этого предвидеть легко: пролетариат хочет одного, а ловкие люди, пользуясь его невежеством, заставляют его делать другое, так что он даже и не подозревает, что делает совсем противоположное тому, что хочет. И когда, наконец, он замечает это, обыкновенно бывает слишком поздно исправить сделанное зло, первой и главной жертвой которого он естественно, необходимо и всегда является.

Таким то путем священники, дворяне, крупные собственники и вся эта бонапартистская администрация, которая, благодаря преступной глупости правительства, именующего себя правительством Национальной Обороны²⁰ может спокойно продолжать ныне свою империалистскую пропаганду в деревнях; таким то путем все эти творцы открытой реакции, пользуясь закоренелым невежеством французского крестьянства, стремятся поднять его против республики, в пользу Пруссак. Увы! Они слишком преуспевают в этом. Ибо разве не видим мы коммуны, не только раскрывающие свои врата пруссакам, но еще и доносящие и изгоняющие партизанские отряды, являющиеся для их освобождения.

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Совсем нет. Я даже думаю, что патриотизм, взятый в наиболее узком и наиболее исключительном смысле слова, только среди них и сохранился таким могущественным и таким искренним. Ибо они больше, чем какая либо другая часть населения, обладают той привязанностью к земле, питают тот культ земли, которые составляют основную предпосылку патриотизма. Как же случилось, что они не хотят или что они колеблются еще подняться для защиты этой земли от пруссаков? О, это потому, что они были обмануты и, что их продолжают еще обманывать. При помощи Маккиавелевской пропаганды, начатой в 1848 г. легитимистами и орлеанистами в согласии с умеренными республиканцами вроде г. Жюля Фавра и К^о, затем продолжаемой с большим успехом бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, что социалисты-рабочие, сторонники раздела, мечтают ни больше ни меньше, как о конфискации их земель; что один лишь император хотел защищать их против этого грабежа, и что революционеры-социалисты выдали его и его армию пруссакам из мести, но что Прусский Король примирился с императором и вновь введет его, победоносного, чтобы восстановить порядок во Франции.

Это очень глупо, но это так. Во многих, — что я говорю! — в большинстве французских провинций крестьянин вполне искренне верит во все это. И это даже единственное основание его инертности и его враждебности к Республике. Это большое несчастье, ибо ясно, что если деревни останутся инертными, если крестьяне Франции, соединившись с рабочими городов, не встанут массами, чтобы выгнать пруссаков, Франция потеряна. Как бы ни был велик героизм, проявляемый городами, — а в нужный момент все города его проявляют в изобилии — города, отделенные от деревень, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они необходимо должны пасть.

Если что доказывает в моих глазах глубокую неспособность этого своеобразного правительства Национальной Обороны, так это то, что с первого же дня, когда оно оказалось у власти, оно отнюдь не приняло немедленно же необходимых мер, чтобы просветить деревни насчет современного порядка вещей, и чтобы вызвать, чтобы возбудить повсюду вооружен-

²⁰ Не справедливее ли было бы называть его правительством разорения Франции?

ное восстание крестьян. Неужели так трудно было понять эту столь простую, столь очевидную для всех истину, что от массового восстания крестьян, объединенного с восстанием народа в городах, зависело и еще поныне зависит спасение Франции? Но сделало ли до сего дня хоть единственный шаг, предприняло ли какие либо меры правительство Парижа и Тура, чтобы вызвать восстание крестьян? Оно ничего не сделало, чтобы вызвать его, и, напротив, сделало все, чтобы это восстание стало невозможным. Таково его безумие и его преступление, – безумие и преступление, могущие убить Францию.

Оно сделало восстание деревень невозможным, поддерживая во всех коммунах Франции муниципальную администрацию Империи: – тех же самых мэров, мировых судей, полевых стражников, разумеется и попов, которые были профильтрованы, выбраны, поставлены и покровительствуемы г.г. префектами и супрефектами, равно как и императорскими епископами с единственной целью: обслуживать интересы династии, хотя бы и вопреки интересам всех и вся, и даже самой Франции. Эти самые чиновники, которые провели все выборы империи, в том числе и последний плебисцит, и которые в истекшем августе под управлением г. Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, подняли против либералов и демократов, всех оттенков в пользу Наполеона III, в тот самый момент, когда этот негодяй предавал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, жестокую пропаганду, распространявшую во всех коммунах клевету, столь же смешную, как и гнусную, якобы республиканцы, толкнувши императора в эту войну, объединились теперь против него с солдатами Германии.

Таковы люди, которых правительство Национальной Обороны по своему тупоумию или равнодушию – одинаковы преступному – оставило до сего дня во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, до такой степени скомпрометированные, что всякая перемена курса для них уже стала невозможной, могут ли они оправдаться теперь и, разом переменяв направление, мнения и речи, действовать как искренние сторонники республики и спасения Франции? Да ведь крестьяне стали бы смеяться им в лицо! Они, следовательно, *вынуждены* говорить и действовать ныне, как вчера; вынуждены отстаивать и защищать интересы императора против республики, интересы династии против Франции и интересы пруссаков, – нынешних союзников императора и династии, против национальной обороны. Вот, чем объясняется, что все коммуны, вместо того, чтобы оказывать сопротивление пруссакам, раскрывают им свои объятья.

Повторяю еще раз: это великий позор, великое несчастье и огромная опасность для Франции. И вся вина за это падает на правительство Национальной Обороны. Если все пойдет тем же порядком, если в ближайшем будущем не переменят настроения деревень, если не поднимут крестьян против пруссаков, – Франция безвозвратно потеряна.

Но как их поднять? Я подробно разработал этот вопрос в другой брошюре²¹. Здесь я скажу об этом лишь несколько слов. Первым условием, конечно, является немедленное и массовое отозвание теперешних коммунальных чиновников, ибо пока эти бонапартисты останутся на местах, ничего нельзя будет сделать. Но это отозвание будет лишь отрицательной мерой. Она абсолютно необходима, но недостаточна. На крестьянина, по природе реалиста и скептика, можно успешно воздействовать лишь средствами положительными. Достаточно, сказать, что декреты и прокламации, хотя бы и подписанные всеми членами правительства Национальной Обороны – совершенно ему незнакомыми – равно как и газетные статьи, на него не производят никакого впечатления. Крестьянин не занимается чтением. Его воображение, его сердце закрыты для идей, пока они появляются в литературной или отвлеченной форме. Чтобы он мог схватить их, идеи должны выявляться ему живым словом

²¹ Lettres a un Francais sur la crise actuelle. Septembre 1870. (Письма к французцу о современном кризисе. Сентябрь 1870).

живых людей и мощью фактов. Тогда он слушает, понимает и кончает тем, что дает себя убедить.

Следует ли послать в деревни пропагандистов, апостолов республики? Это средство было бы не плохо; только оно представляет некоторую трудность и двойную опасность. Трудность заключается в том, что правительство национальной обороны, тем более хватающееся за свою власть, что власть эта ничтожна, и верное своей несчастной системе политической централизации при таких обстоятельствах, когда эта централизация сделалась абсолютно невозможной, захочет само выбирать и назначать всех этих апостолов или поручит это своим новым префектам и чрезвычайным комиссарам. Все же они, или почти все, принадлежат к тому же политическому лагерю, как и само правительство, то есть – все они или почти все – буржуазные республиканцы, адвокаты или редакторы газет, либо платонические (и такие еще лучшие из них, хотя и не самые разумные), либо весьма заинтересованные поклонники республики, идею которой они усвоили не из жизни, но почерпнули из книжек, и которая сулит одним славу и мученический венец, а другим – блестящую карьеру и доходное место.

При всем том, это весьма умеренные республиканцы, *консерваторы, рационалисты и позитивисты*, вроде г. Гамбетты, и как таковые – ожесточенные враги революции и социализма и поклонники государственной власти во что бы то ни стало.

Эти почетные чиновники новой республики захотят, разумеется, послать миссионерами в деревни лишь людей собственного закала и абсолютно разделяющих их собственные политические убеждения. Для всей Франции таковых понадобилось бы по меньшей мере несколько тысяч.

Где, чорт побери, возьмут они их? Буржуазные республиканцы ныне редки, даже среди молодежи! Так редки, что в городе, как Лион, например, их не наберется в достаточном количестве для заполнения важнейших должностей, которые должны бы быть доверены лишь искренним республиканцам.

Первая опасность заключается в следующем если даже префекты и супрефекты нашли бы в своих департаментах, достаточное количество молодых людей, чтобы заполнить пропагандистские должности в деревнях, эти новые миссионеры неизбежно были бы почти всегда и везде ниже – и по своей революционной интеллигентности, и по энергии своего характера, – нежели сами пославшие их префекты и супрефекты, подобно тому, как эти последние ниже выродившихся и более или менее оскотиненных детей великой революции, которые, замещая ныне высшие должности членов правительства рациональной обороны, осмелились взять в свои слабые руки судьбы Франции.

Так, спускаясь все ниже и ниже, от ничтожеств к еще большим ничтожествам, не нашлось бы для посылки пропагандистами республики в деревни никого лучше республиканцев, вроде г. Андрие, прокурора Республики, или г. Евгения Верон, редактора *Прогресса* в Лионе, людей, которые во имя республики станут пропагандировать реакцию. Думаете ли вы, дорогой друг, что это могло бы привить крестьянам вкус к республике?

Увы, я опасаясь обратного. Между бледными поклонниками невозможной отныне буржуазной республики и крестьянином Франции – не *позитивистом и рационалистом*, как г. Гамбетта, но человеком весьма положительным и обладающим здравым смыслом нет ничего общего. Даже если бы они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они увидели бы, как рушится перед лукавой замкнутостью этих грубых деревенских работников вся их литературная, доктринерская и крючкотворная реторика. Воодушевить крестьянина не невозможно, но чрезвычайно трудно. Для этого следовало бы прежде всего носить в себе самом ту глубокую и могучую страсть, которая волнует души и вызывает и производит то, что в обыденной жизни, в однообразном повседневном существовании называют чудесами преданности, самопожертвования, энергии и победоносного действия. Люди 1792 и 1793 г.г.,

особенно Дантон, обладали этой страстью и с нею и благодаря ей обладали силой творить чудеса. Они были бесноватыми и достигли того, что сделали бесноватую всю нацию. Или, скорее, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей всю нацию.

Среди всех нынешних и вчерашних людей, составляющих буржуазно-радикальную партию Франции, встречали ли вы или слышали ли хотя бы об одном, о ком можно было бы сказать, что он носит в своем сердце нечто, хоть немного приближающееся к той страсти и к той вере, которые воодушевляли людей великой революции? Ни одного нет, не правда ли?

Позже я изложу вам причины, которым по моему мнению следует приписать этот при- скорбный упадок буржуазного республиканизма. Я удовольствуюсь теперь констатированием и общим утверждением, которое докажу позднее, – что буржуазный республиканизм был морально и интеллектуально оскoплен, сделан глупым, бессильным, лживым, подлым, реакционным и в качестве такового окончательно выкинут с исторической арены появлением революционного социализма.

Мы изучали вместе с вами, дорогой друг, представителей этой партии в самом Лионе. Мы видели их за работой. Что они говорили, что они делали, что они делают среди ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Всего лишь жалкую, маленькую реакцию! Они не осмеливаются еще делать большую. Две недели достаточно были для них, чтобы показать Лионскому народу, что республиканские и монархические властители различаются лишь по имени. Тоже ревнивое оберегание власти, презирающей и боящейся народного контроля, то же недоверие к народу, та же снисходительность и те же поблажки для привилегированных классов. И однако г. Шальмель-Лакур, префект и ныне, благодаря низкопоклонной подлости Лионского муниципалитета, диктатор этого города, – задушевный друг г-на Гамбетты, его любимый избранник, конфиденциальный делегат и верный выразитель самых интимных мыслей этого великого республиканца, этого *homme viril* (мужественного человека), от которого Франция наивно ждет ныне своего спасения. И однако, г. Андрие, нынешний прокурор Республики и прокурор действительно достойный этого имени, ибо обещает скоро превзойти своим ультраюридическим рвением и своей неизмеренной любовью к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи, – г. Андрие выстав- лял себя при предыдущем режиме свободомыслящим, фанатическим врагом попов, предан- ным сторонником социализма и другом Интернационала. Я думаю даже, что незадолго до падения империи ему выпало особое счастье быть заключенным в тюрьму в качестве тако- вого, и он был извлечен оттуда победоносным народом.

Как случилось, что эти люди изменились, и что – вчерашние революционеры – они сделались ныне такими решительными реакционерами? Результат ли это удовлетворенного честолюбия? Не было ли это потому что, получив благодаря народной революции доста- точно прибыльные, достаточно высокие теплые местечки, они больше всего стараются сохранить их за собой? Ах, конечно, честолюбие и корысть являются сильными мотивами, и они развратили многих, но я не думаю, чтобы пребывание у власти в течении двух недель было достаточно, чтобы развратить души этих новых чиновников Республики. Обманывали ли они народ, когда представлялись ему при империи как сторонники революции? Откро- венно говоря я не могу этому поверить. Они сами обманывались насчет самих себя, вообра- жая себя революционерами. Они приняли свою ненависть очень искреннюю хотя не очень страстную и энергичную к империи за горячую любовь к революции, и построив себе такую иллюзию относительно самих себя, они не догадывались, что они являются партизанами революции и реакционерами в то же самое время.

«Реакционная идея» сказал Прудон:²² – «пусть народ не забывает этого, – зародилась в недрах республиканской партии». И далее он прибавляет, что первоисточником этой мысли является «ее (партии) *правительственное рвение*», крючкотворное, мелочное, фанатическое, полицейское и тем более деспотическое, что оно считает все себе дозволенным, так как ее деспотизм всегда имеет предлогом самое спасение республики и свободы.

Буржуазные республиканцы совершенно ошибочно отождествляют *свою* республику со свободой. В этом главный источник всех их иллюзий, когда они находятся в оппозиции, их разочарований и их непоследовательностей, когда они получают власть в свои руки. Их республика всецело основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно выказать себя тем энергичнее и могущественнее, что оно поставлено народным избранием. И они не хотят понять такой простой истины, подтвержденной опытом всех времен и всех стран, что всякая власть, организованная, установленная, действующая на народ, необходимо исключает свободу народа. Так как политическое государство не имеет иного назначения, кроме как покровительствовать эксплуатации экономически привилегированными классами, народного труда то и государственная власть может быть совместима лишь исключительно с свободой этих классов, интересы которых оно представляет, и по той же самой причине оно должно быть враждебно свободе народа. Кто говорит, государство или власть, тот говорит господство. Но всякое господство предполагает существование масс, над которыми господствуют. Государство, следовательно, не может иметь доверия к самостоятельности и к свободному движению масс, самые заветные интересы коих противны его существованию. Оно их естественный враг, их обязательный угнетатель, и – остерегаясь всеми мерами от признания этого, оно должно всегда действовать, как таковое.

Вот, чего не понимает большая часть молодых сторонников авторитетной или буржуазной республики, поскольку они остаются в оппозиции, пока они еще сами не отведали власти. До глубины сердец презирая со всей страстностью своих бедных убогих, изнервничавшихся натур монархический деспотизм, они воображают, что ненавидят деспотизм вообще. Желая иметь силу и храбрость, чтобы низвергнуть трон, они считают себя революционерами. И они не подозревают, что ненавидят вовсе не деспотизм, но лишь его монархическую форму, и что этот самый деспотизм, едва лишь он примет республиканскую форму, найдет в них самых наиболее ревностных приверженцев.

Они не знают, что деспотизм заключается не столько в *форме* государства и власти, сколько в самом *принципе* государства и политической власти, и что, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое государем или королем. Между этими двумя государствами имеется лишь одно действительное различие. Оба одинаково имеют своей главной основой и целью экономическое порабощение масс в пользу владеющих классов. Разница же между ними та, что для достижения этой цели монархическая власть, которая в наши дни повсюду стремится превратиться в военную диктатуру, не допускает свободы ни одного класса, ни даже того, которому оно покровительствует в ущерб народу. Оно очень хочет и вынуждено служить интересам буржуазии, но не позволяет ей сколько-нибудь серьезно вмешиваться в управление делами страны.

Когда эта система осуществляется неопытными или слишком нечестными руками, или когда она ставит в слишком наглядную оппозицию интересы династии с интересами эксплуататоров промышленности и торговли страны, как это только что случилось во Франции, она может сильно скомпрометировать интересы буржуазии. Она представляет собою другую невыгоду, очень серьезную с точки зрения буржуа она задевает их тщеславие и их гордость. Правда, она защищает их и предлагает им, с точки зрения эксплуатации народ-

²² «Общая идея Революции».

ного труда, совершенную безопасность, но в то же время она их унижает, ставя слишком узкие границы их мании резонировать, и когда они осмеливаются протестовать, она с ними не церемонится. Естественно, это нервирует наиболее пылкую и, если хотите, наиболее великодушную и наименее рассуждающую партию буржуазного класса. И таким путем в среде его формируется из ненависти к этому угнетению буржуазно-республиканская партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Прекращения официально покровительствуемого и гарантируемого государством эксплуатации народных масс? Действительной и полной эмансипации всех посредством экономического освобождения народа? Совсем нет. Буржуазные республиканцы – самые отчаянные и самые страстные враги социальной революции. В моменты политического кризиса, когда они нуждаются в мощных руках народа, чтобы низвергнуть трон, они действительно снисходят до обещания материальных улучшений этому, *столь заслуживающему интереса* классу работников, но так как в то же время они воодушевлены самой твердой решимостью сохранить и поддержать все принципы, все *священные основы* современного общества, все эти экономические и юридические институты, необходимым следствием которых является действительное рабство народа, то их обещания рассеиваются, конечно, всегда, как дым. Народ, разочарованный, ропщет, угрожает, бунтует, и тогда, чтобы сдержать взрыв народного недовольства, они видят себя вынужденными, – они, буржуазные революционеры, – прибегнуть к всемогущей репрессии государства. Отсюда следует, что республиканское государство совершенно так же угнетает, как и государство монархическое. Только оно угнетает отнюдь не владеющие классы, но лишь народ.

Поэтому, никакая форма правительства не является столь благоприятной интересам буржуазии и столь же любимой этим классом, как республика, если бы только она имела силы удержаться при современном экономическом положении Европы против все более и более угрожающих социалистических вожеланий рабочих масс. Следовательно, буржуазия опасается совсем не доброты республики, которая целиком ей на пользу, но ее недостаточной мощи, как государства, или ее способности удержаться и защищаться против бунтов пролетариата. Нет буржуа, который не сказал бы вам: «Республика – прекрасная вещь, к несчастью она невозможна, она не может долго существовать, ибо никогда не найдет в себе необходимой силы, чтобы стать серьезным, почтенным государством, способным заставить уважать себя и внушить массам почтение к нам». Обожая республику платонически, но сомневаясь в ее возможности или по меньшей мере в ее длительности, буржуа всегда, следовательно, стремится стать под защиту военной диктатуры, которую он презирует, которая его оскорбляет, унижает и которая рано или поздно кончает тем, что разоряет его, но которая все таки доставляет ему все условия силы, спокойствия на улицах и общественного порядка.

Это роковое предпочтение огромного большинства буржуазии к режиму штыка приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они делали и делают как раз ныне *«сверхчеловеческие»* усилия, чтобы заставить его полюбить республику, чтобы доказать ему, что отнюдь не вредя интересам буржуа, она напротив того, будет вполне благоприятна им, или что то-же – что она всегда будет противна интересам пролетариата, и что она будет обладать необходимой силой для внушения народу уважения к законам, гарантирующим спокойное экономическое и политическое господство буржуазии.

Такова ныне главная забота всех членов правительства Национальной Обороны, точно так же как и всех префектов, субпрефектов, адвокатов Республики и генеральных комиссаров, делегированных ими в департаменты. Это делается не столько ради защиты Франции от нашествия пруссаков, сколько для того, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы и настоящие обладатели государственной власти, имеют всю добрую волю и всю желательную власть, чтобы сдержать бунты пролетариата. Встаньте на такую точку зрения, и вы поймете все иначе необъяснимые поступки этих своеобразных защитников и спасителей Франции.

Воодушевленные таким духом и преследуя такую цель, они поневоле катятся к реакции. Как могли бы они делать и вызывать революцию, даже тогда, когда революция – как это очевидно ныне – единственное средство спасения Франции? Как они, носящие в себе официальную смерть и паралич всякого народного действия, разнесли бы движение и жизнь по деревням? Что могли бы они сказать крестьянам, чтобы поднять их против вторжения пруссаков, перед лицом всех этих бонапартистских попов, мировых судей, мэров и полевых стражников, уважать которых заставляет их безудержная любовь к общественному порядку, и которые с утра до вечера, вооруженные влиянием и несравненно большею способностью действовать, чем она сами, ведут и будут продолжать вести в деревнях совершенно противоположную пропаганду. Попытаются ли они тронуть крестьян фразами, когда все факты будут опровергать эти фразы?

Знайте же, крестьянин ненавидит всякое правительство. Он терпит его из осторожности; он регулярно выплачивает налоги и терпит, когда берут его сыновей в солдаты, потому что не видит, как он мог бы сделать иначе. И он не желает содействовать никакой перемене правительства, потому что говорит себе, что все правительства стоят друг друга, и что новое правительство, как бы оно ни называлось, не будет лучше прежнего, а также и потому, что хочет избежать риска и расходов, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов республиканское правительство наиболее ненавистно для него, ибо напоминает ему во-первых, добавочные сантимы 1848 г. и затем потому, что в течение двадцати лет не переставая республику чернили и ругали в его глазах. Она для него – пугало, потому что отождествляется с режимом сплошного насилия, и притом она не дает ему никакой выгоды, а наоборот связана с материальным разрушением. Республика для него – это царство того, что он ненавидит больше всего – диктатуры адвокатов и городских буржуа и, выбирая между диктатурами, он имеет «дурной вкус» предпочитать диктатуру штыка.

Как же надеяться в таком случае, что *официальные* представители республики смогут склонить крестьянина к республике? Когда он почувствует себя сильнее, он посмеется над ними и прогонит их из своей деревни. А когда он окажется слабейшим, он замкнется в самом себе – молча и инертно. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов, редакторов газет в деревни, чтобы вести там пропаганду в пользу республики, было бы следовательно смертельным ударом для республики.

Но, что же в таком случае делать? Есть только одно средство, это – революционизировать деревни точно так же, как и города. А кто может сделать это? Единственный класс, который действительно, открыто носит ныне в своих недрах революцию, есть класс городских рабочих.

Но как рабочие возьмутся за революционизирование деревень? Пошлют ли в каждую деревню отдельных рабочих в качестве апостолов республики? Но где они возьмут деньги, необходимые на покрытие расходов этой пропаганды? Правда, г.г. префекты, супрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но тогда эти посланцы не были бы больше делегатами рабочего мира, но делегатами Государства, что коренным образом изменило бы характер, роль и самое содержание их пропаганды уже не революционной, но поневоле реакционной. Ибо первое, что они вынуждены были бы делать, это – внушить крестьянам доверие ко всем вновь установленным или сохраненным республикой властям; следовательно также доверие к властям бонапартистским, зловерная деятельность коих продолжает еще тяготеть над деревнями. Впрочем очевидно, что г.г. супрефекты, префекты и генеральные комиссары, согласно естественному закону, заставляющему каждого предпочитать то, что соответствует, а не противоположно его природе, выбрали бы для выполнения этой роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных или наиболее угодливых. Это опять была бы реакция под рабочим флагом. А мы сказали, что только революция может революционизировать деревни.

Наконец, следует прибавить, что индивидуальная пропаганда, будь она даже производима самыми революционными в мире людьми, не сможет оказать слишком большого влияния на крестьян. Красноречие совсем не очаровывает их, и слова, когда они не являются проявлением силы и не сопровождаются немедленно делами, остаются для них лишь словами. Рабочий, который один выступил бы с речью в деревне, сильно рисковал бы быть поднятым на смех и изгнанным, как буржуа.

Что же надо делать?

Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов вольные отряды.

Общее правило, кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом; иначе будут произноситься безрезультатные речи, производиться бесплодный шум, но дела не будет. Итак, прежде всего пропагандистские вольные отряды должны быть сами революционно вдохновлены и организованы. Они должны носить революцию в своей груди, чтобы быть в состоянии вызвать и возбудить ее вокруг себя. Затем, они должны наметить себе систему, линию поведения, сообразную с поставленной себе целью.

Какова эта цель? Не навязать революцию деревням, но вызвать и возбудить ее там.

Революция, навязанная официальными декретами или вооруженной рукой, уже не есть революция, но противоположность революции, ибо она неизбежно вызывает реакцию. В то же время вольные отряды должны явиться в деревни, как внушительная сила, способная заставить уважать себя, не для того, конечно, чтобы производить насилия над крестьянами, но чтобы отнять у них всякое желание смеяться над ними и дурно обращаться с ними прежде даже, чем выслушают их, что могло бы случиться с индивидуальными пропагандистами, не сопровождаемыми внушительной силой. Крестьяне несколько грубы, а грубые натуры легко могут быть увлечены престижем и проявлениями силы, хотя и могут потом взбунтоваться, если эта сила навязывает им условия, слишком противные их инстинктам и их интересам.

Вот, чего должны очень остерегаться вольные отряды. Они ничего не должны навязывать, но все возбуждать. Что они могут и что должны естественно делать, это – с самого начала отстранить все, что могло бы препятствовать успеху пропаганды. Так они должны начать с раскассирования без кровопролития всей коммунальной администрации, неизбежно пропитанной бонапартистским, легитимистским или орлеанистским ядом; захватить, выслать или, или в случае необходимости, арестовать г.г. коммунальных чиновников, точно так же, как и всех крупных реакционных собственников – и господ попов вместе с ними, – ни по какой иной причине, *как за их тайное соглашательство с пруссаками*. Легальный муниципалитет должен быть замещен революционным комитетом, образованным из небольшого числа наиболее энергичных и наиболее искренне преданных революции крестьян.

Но прежде, чем создать этот комитет, нужно произвести действительный переворот в настроениях, если не всех крестьян, то по меньшей мере значительного большинства крестьян. Нужно, чтобы это большинство воодушевилось идеей революции. Как произвести это чудо? На основе выгоды. Говорят, что французский крестьянин корыстолюбив. Ну что же. Нужно, чтобы самое его корыстолюбие заинтересовалось в революции. Нужно ему предложить и немедленно дать крупные материальные преимущества.

* * *

Пусть не кричат о безнравственности подобной системы. По нынешним временам и при наличии примеров, даваемых нам всеми милостивыми властителями, держащими в руках судьбы Европы, – их правителями, генералами, их министрами, их высшими и низшими чиновниками, и всеми привилегированными классами, духовенством, дворянством, буржуазией – право же было бы некрасиво возмущаться этой системой. Это было бы напрас-

ным лицемерием. В настоящее время выгода управляет всем, объясняет все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян губят ныне Францию, почему бы не спасти ее выгодами же и корыстолюбием крестьян? Тем более, что они уже спасли ее однажды, а именно в 1792 году.

Послушайте, что говорит по этому поводу великий историк Франции Мишлэ, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме²³:

«Никогда не было такой октябрьской пахоты, как в 91 году, когда пахарь, серьезно наученный Варенном и Пильнитцем²⁴, впервые обдумал опасности, угрожавшие ему, и все завоевания Революции, которые хотели отнять у него. Его работа, одушевленная воинственным негодованием, была уже сражением в его воображении. Он пахал, как солдат, шел за сохой военным шагом и, стегая свой скот более суровыми ударами хворостины, кричал то: „Ну, Пруссия!“ то „Ну, пошла, Австрия!“ . Бык шагал, словно лошадь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась, наполненная дыханием жизни.

Дело в том, что этот человек не мог терпеливо перенести, что его *недавним приобретением* грозит опасность, едва проснулось в нем его человеческое достоинство. *Свободный, попирает свободное поле, он чувствовал, шагал, под собою землю свободную от податей, от десятины, землю, которая уже принадлежит или будет завтра принадлежать ему. Долой господ! Каждый господин себе. Все короли. Каждый на своей земле. Старая поговорка сбывается: Бедняк-король в своем доме.*

В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?».

И дальше, говоря о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением герцога Брауншвейгского:

«Вступив в Вердэн, герцог Брауншвейгский почувствовал себя там так хорошо, что пробыл целую неделю. Уже там, эмигранты, окружавшие прусского короля, начали напоминать ему о данных им обещаниях. Этот принц сказал при отъезде следующие странные слова (Гарденберг слышал их): „он не будет вмешиваться в управление Францией, он лишь вернет королю абсолютную власть“. Вернуть королю королевство, церкви священникам, *имения помещикам*, в этом заключалось все его честолюбие. Чего требовал он от Франции за все эти благодеяния? Никакой территориальной уступки, ничего кроме оплаты издержек, связанных с войной, предпринятой ради ее спасения.

Эта маленькая фраза: „*возвратить имения*“ заключала в себе многое. Крупным помещиком было духовенство. Ему следовало вернуть *имений на четыре миллиарда, признать недействительными запродажные сделки*, уже к январю 1792 г. произведенные на один миллиард, а за истекшие с тех пор десять месяцев бесконечно возросшие. Что стало бы с бесчисленным множеством контрактов, прямо или косвенно связанных с этими операциями? Ведь пострадали бы не только интересы приобретателей, но и интересы тех, кто ссужал их деньгами, и тех, кто купил у них земли, целого множества третьих лиц... целого народа *действительно связанного с Революцией* почтенными выгодами. *Революция снова призвала к настоящему назначению – служить для поддержки бедняков, – эти имения*, в течение многих уже веков служившие совсем иным целям, нежели те, ради которых их завещали благочестивые жертвователи. *Они перешли от мертвой руки в живые руки, от лентяев к труженикам, от развратных аббатов, от пузатых настоятелей, от чванных епископов к честному землепашцу. Новая Франция возникла за этот короткий промежуток времени.* А эти невежды (эмигранты), ведшие иностранца, и не подозревали этого...

При этих многозначительных словах о восстановлении священников, о возвращении имений и т. д., крестьянин насторожился и понял, что во Францию вступает контрреволю-

²³ История французской революции Мишлэ, т. III

²⁴ В Варение был узан и задержан убежавший Людовик XVI, в Пильнитце он был заключен.

ция, что должно произойти громадное изменение *порядка вещей* и людей. Не у всех были ружья, но те, у кого они были, взяли их; и у кого были вилы, взял вилы, а у кого коса, – косу. Необычайные вещи стали твориться на французской земле. Она казалось разом изменившейся на пути чужеземца. Она сделалась пустыней. Хлеб исчез, словно ураган унес его, и перевезен был на запад. На пути врага остались лишь – зеленый виноград, болезнь и смерть».

Несколько дальше Мишлэ рисует такую картину крестьянского восстания во Франции:

«Население рвалось к бою с таким увлечением, что власти начали пугаться и удерживали его. Беспорядочные массы, почти безоружные, устремлялись к одному и тому же пункту, не знали, как их разместить, чем накормить. На востоке, особенно в Лотарингии, холмы и все господствующие возвышенности, сделались грубо укрепленными при помощи срубленных деревьев лагерями, на подобие наших древних лагерей времен Цезаря. Верцингеторикс подумал бы, видя все это, что он находится в сердце Галлии. Немцам пришлось сильно призадуматься, когда они проходили, оставляя позади себя эти народные лагеря. Каково то будет их возвращение? Во что превратилось бы отступление сквозь эти враждебные массы, которые со всех сторон, словно внешние воды, во время великого таяния снега, неизвергнутся на них?.. Они должны были понять: – им приходилось иметь дело не с армией, но с целой Францией».

* * *

Увы, не противоположное ли этому мы видим теперь? Почему же та же самая Франция, которая в 1792 г. поднялась целиком, чтобы помешать чужеземному нашествию, почему не встает она теперь, когда ей угрожает, гораздо большая опасность, чем в 1792 г.? Ах, это потому, что в 1792 г. она была наэлектризована Революцией, а ныне парализована Реакцией, покровительствуемой и воплощаемой своим правительством так называемой Национальной Обороны.

Почему крестьяне массами поднялись против Пруссиков в 1792 г. и почему ныне они остаются не только инертными, но скорее даже более благожелательными к тем же самым Пруссакам, чем к той же самой Республике? Ах, это потому, что для них Республика уже больше не та, что была раньше. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 г., была Республикой в высшей степени народной и революционной. Она предоставляла народу огромные, или, как говорит Мишлэ, *почтенные* выгоды. Путем сперва массовый конфискации церковных имений, а затем конфискации имений эмигрировавшего, или взбунтовавшегося, или заподозренного и обезглавленного дворянства, она дала ему землю и, чтобы сделать невозможным возвращение этой земли ее прежним владельцам народ поднялся массами. – Между тем, как нынешняя Республика, отнюдь не народная, но напротив того, полная враждебности и недоверия к народу, Республика адвокатов, несносных доктринеров и даже буржуазная не дает ему ничего, кроме фраз, увеличения налогов и риска, без малейшего материального за то вознаграждения.

Крестьянин тоже не верит в эту республику, но по другим соображениям, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазною, слишком благоприятной интересам буржуазии, а в глубине своего сердца он питает тайную ненависть против буржуа. И хотя эта ненависть проявляется в иных формах, нежели ненависть городских рабочих против этого класса, ставшего ныне столь мало почтенным, она от этого не менее сильна.

Никогда не следует забывать, что крестьяне, бесконечное большинство крестьян по меньшей мере, хотя и сделались собственниками во Франции, *тем не менее живут трудом рук своих*. Вот, что существенно отличает их от буржуазного класса, большая часть коего живет *выгодной эксплуатацией труда народных масс*. И это, с другой стороны, объединяет

крестьян с рабочими городов, несмотря на различие их положений – к невыгоде рабочих, – на различие идей и, к сожалению слишком часто вытекающих отсюда принципиальных недо-разумений.

Что особенно отдаляет крестьян от городских рабочих, это некоторый умственный *аристократизм*, очень плохо впрочем, обоснованный, который рабочие часто выставляют на показ перед ними. Конечно, рабочие более начитаны, их ум, их знания, их идеи лучше развиты. Во имя этого то маленького научного превосходства, им случается порою свы-сока обращаться с крестьянами, выказывать им свое пренебрежение. И, как я уже заметил в другом произведении:²⁵ рабочие весьма неправы, ибо по этим же самым соображениям и с гораздо большим основанием, буржуа, которые гораздо учение и развитее рабочих, имели бы еще больше права презирать этих последних. И, как известно, они не упускают случая подчеркнуть свое превосходство.

* * *

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из моей только что упомянутой работы: «Крестьяне, сказал я в этой брошюре, рассматривают городских рабо-чих, как *дольщиков*, и боятся, как бы социалисты не явились конфисковать их земли, которые они любят больше всего в мире.

– Что же должны сделать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность к ним крестьян? Прежде всего, перестать выражать им свое презрение, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян представляет из себя громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и ненависти, революция давно уже была бы совершена, ибо враждебность, которая, к сожалению, существует в деревнях про-тив городов, является не только во Франции, но во всех странах основой и главной силой реакции. И так, в интересах революции, которая должна освободить их, рабочие должны перестать возможно скорее выказывать это презрение к крестьянам. Они должны сделать это по справедливости, ибо право же, у них нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не тунеядцы, они суровые труженики, как и сами рабочие*, только они трудятся в различных условиях. Вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплоататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина.*

Крестьяне пойдут вместе с городскими рабочими на спасение отечества, как только они убедятся, что *городские рабочие не собираются навязать им свою волю, ни какой бы то ни было политический и социальный порядок, изобретенный городами для вящего бла-гополучия деревень; как только они получают уверенность, что рабочие отнюдь не имеют намерения отобрать у них их землю.*

Ну, так самое необходимое теперь, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и отказались так, чтобы крестьяне узнали и действительно убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже, если бы подобные при-тязания были осуществимы, они были бы в высшей степени *несправедливы и реакционны*, и теперь, когда их осуществление сделалось абсолютно невозможным, они представляют собою лишь преступное безумие.

По какому праву рабочие навязали бы крестьянам какую бы то ни было форму пра-вительства или организации? По праву революции, говорят. Но революция перестает быть революцией, когда вместо того, чтобы вызывать свободные проявления масс она возбуждает реакцию в их недрах. Средство и условие, если не главная цель революции, это – уничтоже-ние принципа власти во всех его возможных проявлениях; это полное уничтожение полити-

²⁵ Письма к Французу о современном кризисе. Сентябрь.

ческого и юридического Государства, потому что Государство, младший брат Церкви, как это прекрасно доказал Прудон, есть историческое освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое основание всех экономических и социальных порабощений, самая сущность и центр всякой реакции. Когда во имя революции хотят создать Государство, будь это даже лишь временное государство, творят реакцию и работают для деспотизма, а не для свободы, для учреждения привилегий и против равенства.

Это ясно как день. Но социалистические рабочие Франции, воспитанные на политических традициях Якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они вынуждены будут понять это к счастью для революции и их собственного. Откуда явилось у них это столь же смешное как и наглое, столь же несправедливое, как пагубное притязание навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающим его? Очевидно, это буржуазное наследие, политический завет буржуазного революционаризма. Каково же обоснование, объяснение, какова теория этого притязания? Мнимое или действительное превосходство интеллигентности, образования, словом цивилизации рабочей над цивилизацией деревенской. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно узаконить любое завоевание, освятить любое угнетение? Буржуазия никогда и не пользуется другим принципом для доказательства своей миссии *править*, или, что то же самое, эксплуатировать рабочий мир. Переходя от нации к нации, точно также, как и от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий собою ничто иное, как принцип власти, объясняет и оправдывает все нашествия, все завоевания. Разве не им же пользовались немцы, чтобы оправдать все свои покушения против свободы и против независимости славянских народов, и чтобы узаконить насильственное и жестокое онемечивание.

Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцы начинают замечать так же, что протестантская, германская цивилизация гораздо выше цивилизации католической, представленной, главным образом, народами латинской расы, и в частности – цивилизации французской. Берегитесь, чтобы они не вообразили в скором времени, что их миссия – цивилизовать вас и сделать вас счастливыми, – совершенно так же, как вы воображаете, что ваша миссия цивилизовать и освободить ваших же земляков, ваших братьев, крестьян Франции. По моему, и то и другое притязание одинаково постыдно, и я объявляю вам, что как в международных отношениях, так и в отношениях одного класса к другому, я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать подобным способом. Я восстану вместе с ними против всех этих наглых цивилизаторов; как бы они ни назывались – рабочими или немцами, и, восстав против них, я послужу революции против реакции.

Но в таком случае, скажут мне, нужно по вашему предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям и всем интригам реакции? Отнюдь нет. Следует раздать реакцию и в деревнях, и в городах; но нужно для этого поразить ее на деле, а не вести с ней войну при помощи декретов. Я уже сказал, что ничего нельзя искоренить декретами. Напротив, декреты и всяческие акты власти укрепляют то, что они хотели бы разрушить.

Вместо того, чтобы хотеть отобрать у крестьян земли, которыми они сейчас владеют, предоставьте им следовать их естественному инстинкту. Знаете ли, что тогда произойдет? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля* принадлежала ему. Он считает чужаками и узурпаторами знатного вельможу и богатого буржуа, – чьи обширные владения, возделанные наемными руками, уменьшают его поля. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы овладеть землями дворянства и буржуазии.*

Но, если бы это случилось, если бы крестьяне наложили свою руку на всякую частицу земли, еще не принадлежащей им, не укрепился ли бы от этого досадным образом принцип индивидуальной собственности и не оказались ли бы крестьяне, более, чем когда-либо враждебными социалистическим рабочим городов?

Совсем нет, ибо *раз Государство уничтожено, юридическое и политическое освящение, гарантия собственности Государством будет отсутствовать. Собственность не будет уже правом, она будет низведена до простого факта.*

Тогда настанет гражданская война, скажете вы. Раз частная собственность не будет более гарантирована никакой высшей политической, административной, юридической и полицейской властью, но лишь защищаема усилиями владельца, – каждый захочет овладеть имуществом другого и более сильные ограбят слабых.

Конечно, в начале не все пойдет совершенно мирным путем, будет борьба. *Общественный порядок*, эта высшая святыня буржуа, будет нарушен, и первые явления, вытекающие из подобного положения вещей, могут представить из себя то, что принято называть гражданской войной. Но предпочтете ли вы вместо того отдать Францию пруссакам?

Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга. Если бы они даже и захотели сделать это в начале, они не замедлили бы убедиться в материальной невозможности упорствовать на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что они постараются согласиться между собою, договориться и съорганизоваться. Потребность питаться и питать свою семью и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, необходимость охранять свои дома, свои семьи и самую жизнь их от непредвиденных нападений, – все это несомненно вынудит их скоро вступить на путь взаимных сделок.

И не думайте также, что в этих сделках, *происходящих помимо какой бы то ни было официальной опеки* единственно силою вещей, более сильные, более богатые будут оказывать преобладающее влияние. Богатство богатых, не гарантированное более юридическими установлениями, перестанет быть могуществом. Богатые так влиятельны ныне лишь потому, что в силу заигрываний перед ними государственных чиновников они специально покровительствуемы государством. Как только они не смогут больше опираться на государство, их могущество сразу исчезнет. Что же касается более упорных, более сильных, они будут сведены на нет коллективной мощью бедных и беднейших крестьян, равно как и сельских батраков, всей этой массы, ныне обреченной на немые страдания, и которую революционное движение вооружит непреодолимой мощью.

Заметьте себе хорошенько: я не утверждаю, что деревни, которые переорганизуются таким образом снизу вверх, создадут с первого же раза идеальную организацию, во всех пунктах согласную с нашими мечтами. Но в чем я убежден, так это в том, что это будет организация *жизненная*, и как таковая, в тысячу раз высшая сравнительно с ныне существующей. Впрочем, эта новая организация, оставаясь всегда открытой для пропаганды городов, и не могущая более быть закрепленной и, так сказать, окаменелой вследствие юридической санкции государства, будет свободно прогрессировать, развиваясь и совершенствуясь не по намеченному плану, но всегда свободно и жизненно, никогда не декретированная и не легализованная, пока не достигнет такой степени целесообразности, какой можно надеяться в наши дни.

Так как жизнь и самопроизвольная деятельность, прекращенные на протяжении веков все поглощающей деятельностью государства, будут вновь предоставлены коммуна, естественно, что каждая коммуна за отправный пункт своего нового развития возьмет не то умственное и нравственное состояние, какое предполагает за нею официальная фикция, но действительный уровень своей цивилизации; и так как степень действительной цивилизации весьма различна у коммун Франции, равно как и у Европы вообще, отсюда неизбежно будет вытекать большее различие в развитии; но взаимное соглашение, гармония, равновесие, установленные с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство Государств. Будет новая жизнь и новый мир.

Вы скажете мне: „Но эти революционные волнения, эта внутренняя борьба, которая естественно должна родиться из разрушения политических и юридических установлений, –

не парализуют ли они национальной обороны и вместо того, чтобы способствовать отражению пруссаков, не облегчат ли, напротив; завоевание Франции?»

Отнюдь нет. История доказывает нам, что никогда нации не выказывали себя столь могущественными вовне, как когда внутри они чувствовали себя глубоко потрясенными и взволнованными, и что, наоборот, они никогда не были столь слабыми, как когда они казались объединенными и спокойными под эгидой какой либо власти. По существу нет ничего естественнее: борьба это – деятельная мысль, это жизнь, и эта активная и жизненная мысль – сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей собственной истории. Взгляните на Францию, какой она была во дни молодости Людовика XIV, пережившую Фронду, развившуюся, окрепшую благодаря борьбе, и Францию времен его старости, монархию прочно установленную, объединенную, умиротворенную *великим королем*: первая – вся блиставшая победами и вторая – идущая от поражения к поражению и к разрушению. Сравните также Францию 1792 г. с современной Францией. Если когда либо Франция была раздираема гражданской войной, так это именно в 1792–1793 гг.; движение, борьба, – борьба не на жизнь, а на смерть – происходила во всех пунктах Республики, и однако Франция победоносно отразила нашествие Европы, почти целиком объединившейся против нее. В 1870 г. объединенная и умиротворенная Франция Империи побита немецкими армиями и выказывает себя до такой степени деморализованной, что приходится дрожать за ее существование».

* * *

Здесь является вопрос: Революция 1792 и 1793 г.г. могла дать крестьянам, правда не даром, но по очень низким ценам национальные имения, т. е. земли церкви и эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, им больше нечего дать. О, найдется! Разве церковь, религиозные ордена обоего пола, благодаря преступному сообщничеству легитимистской монархии и особенно второй империи, не сделались снова очень богатыми?

Правда, наибольшая часть их богатств была весьма предусмотрительно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами не пренебрегала никогда своими материальными интересами и всегда отличалась остроумностью своих экономических спекуляций, поместила, конечно, большую часть своих земных благ, которые она непрерывно преумножала изо дня в день для вящего блага бедных и несчастных, – во всякого рода торговые, промышленные и банковские предприятия, как частные, так и общественные, и в ренты всех стран. Так что нужно до меньшей мере всемирное банкротство, которое явится неизбежным следствием всемирной социальной революции, чтобы лишить ее этих богатств, составляющих ныне главное орудие ее могущества, увы! еще слишком чудовищного. Но остается не менее верным и то, что она обладает в настоящее время особенно на юге Франции, огромным имуществом, в земле и постройках, равно как в церковных украшениях и утвари – настоящих сокровищах из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Ну, так вот, все это может и должно быть конфисковано – не в пользу государства, но коммунами.

* * *

Имеются затем имения тысяч собственников-бонапартистов, которые в течение двадцати лет императорского режима отличились своим рвением, и которые были всячески покровительствуемы империей. Конфисковать эти имения было не только правом, но было и остается долгом, ибо бонапартистская партия – совсем не обыкновенная историческая

партия, вышедшая органически правильным путем из постепенного, религиозного, политического и экономического развития страны, покоящаяся на каком либо правильном или ложном национальном принципе. Это – просто банда разбойников, убийц, воров, которая, опираясь с одной стороны на *реакционную подлость трепещущей перед красным призраком буржуазии, которая сама еще красна от крови рабочих Парижа, пролитой ее руками*, – с другой стороны на благословения священников и на преступное честолюбие высшего офицерства, ночью овладела Францией: «Дюжина светских Robert-Macaire'ов из высшего света, объединенных пороком и общей им нуждой, разоренных, потерявших репутацию и обремененных долгами, в видах восстановления своего положения и состояния, не отступили перед одним из самых отвратительных покушений, известных в истории». Вот, в немногих словах вся правда о декабрьском перевороте. Разбойники восторжествовали. Они безраздельно царствуют в течение восемнадцати лет над прекраснейшей страной Европы, которую Европа считает вполне основательно центром цивилизованного мира. *Они создали официальную Францию по своему образу и подобию*. Они сохранили почти нетронутой видимость учреждений и вещей, но перевернули основу их, низведя их до своего собственного умственного и нравственного уровня. Все прежние слова остались. По прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и человечности, но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно противоположное тому, что оно должно бы выражать: это похоже на разбойничью шайку, которая по какой то кровавой иронии употребляет самые благородные выражения при обсуждении самых отвратительных намерений и поступков. Не таковы ли еще и ныне отличительные черты императорской Франции?

«Есть ли что-нибудь более отвратительное, более подлое, чем, например, императорский Сенат, составленный, по выражению Конституции *из всех знаменитостей страны*? Не является ли он, заведомо для всех, богадельней для всех соучастников преступления, для всех гнусных декабристов? Есть ли что либо более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти трибуналы и чиновники, не знающие другого долга, как поддерживать при всякой оказии и во что бы то ни стало бесчестность продажных тварей империи?»²⁶».

Вот что в марте месяце, в то время, как империя еще процветала, писал один из моих самых близких друзей²⁷. То, что он говорил о сенаторах и о судьях было одинаково приложимо ко всему официальному и официозному миру, к военным и статским чиновникам, коммунальным и департаментальным, – ко всем преданным избирателям, равно как и ко всем бонапартистским депутатам. Банда разбойников, сперва не слишком многочисленная, но все увеличивающаяся год от года, привлекая в свои недра выгодами все извращенные и прогнившие элементы, затем удерживая их у себя солидарностью в бесчестии и преступлениях, кончила тем, что покрыла собою всю Францию, охватив ее своими звеньями, как огромная гадина.

Вот, что называется бонапартистской партией. Если когда либо существовала во Франции преступная и роковая партия, – это была именно она. Она не только насильствовала ее свободу, испортила ее характер, развратила ее совесть, оподлила ее ум, обесчестила ее имя; она разрушила безудержным грабежом, длившимся подряд восемнадцать лет, ее состояние, ее силы, и затем выдала ее дезорганизованную на завоевание пруссаков. И даже теперь, когда она должна бы терзаться угрызениями совести, умирать от стыда, чувствовать себя раздавленной грузом своей подлости, уничтоженной всеобщим презрением, она снова, после нескольких дней наружного бездействия и молчания, поднимает голову, она снова осмели-

²⁶ *Бернские Медведи и Медведь С-Петербургский*, патриотическая жалоба отчаявшегося и униженного швейцарца. Невшатель 1870.

²⁷ Сам Бакунин – Дж. Г.

вается говорить и открыто устраивать заговор против Франции в пользу бесчестного Бонапарта, отныне союзника пруссаков, покровительствуемого ими.

Эта непродолжительное молчание и бездействие было вызвано не раскаянием, но единственно жестоким страхом, который причинил ей первый взрыв народного возмущения. В первые дни сентября бонапартисты поверили в революцию и, зная слишком хорошо, что нет такого нападения, которого они не заслуживали бы, они бежали и попрятались, как трусы, дрожа перед справедливым народным гневом. Они знали, что революция не любит фраз, и что раз она пробудилась и действует, она не остановится на полдороге. Бонапартисты думали следовательно, что они политически уничтожены, и в течение первых дней, следовавших за провозглашением Республики, они только и мечтали о том, чтобы спрятать в надежном месте свои приобретенные кражей богатства и свои драгоценные особы.

Они были приятно поражены, видя, что могли еще сделать и то и другое без малейшего затруднения и без малейшей опасности. Как и в феврале и марте 1843 г., буржуазные доктринеры и адвокаты, находящиеся ныне во главе нового временного правительства Республики, вместо того, чтобы принять меры к спасению, изрекали фразы. Невежественные относительно революционной практики и истинного положения Франции, как и их предшественники, испытывая, как и они, ужас перед Революцией, г.г. Гамбетта и К° хотели поразить мир рыцарским великодушием, оказавшимся не только неуместным, но и преступным. Оно было настоящей изменой Франции, ибо вручило доверие и оружие ее наиболее опасному врагу, – шайке бонапартистов, Воодушевленное этим тщеславным желанием, этой фразой, правительство Национальной Обороны приняло поэтому все необходимые меры, – и на этот раз даже самые энергичные, – чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры могли спокойно покинуть Париж и Францию, увозя с собой все свое движимое состояние, и оставляя под совершенно особым покровительством свои дома и свои земли которые они не могли захватить с собой. Оно довело даже свою удивительную заботливость к этой банде убийц Франции до того, что рисковало всей своей популярностью, защищая их от слишком законного народного возмущения и недоверия. А именно, во многих провинциальных городах народ, который ничего не понимает относительно этого смешного столь плохо направленного великодушия, и который, когда поднимается для действия, идет всегда прямо к своей цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся бесчестностью и жестокостью своих поступков, как официальных, так и частных. Как только правительство Национальной Обороны и особенно г. Гамбетта, министр внутренних дел, узнали об этом, как ссылаясь на диктаторские полномочия, которые по его мнению были вручены ему народом Парижа, но которыми по странному противоречию он считал своим долгом пользоваться лишь против народа, но не в своих дипломатических сношениях с вторгающимся иностранцем, – он поспешил приказать самым высокомерным и самым решительным образом немедленно выпустить на свободу всех этих негодяев.

Вы помните, конечно, дорогой друг, сцены, происходившие в Лионе во второй половине сентября, вследствие освобождения бывшего префекта, генерального прокурора и городовых империи.

Эта мера, предписанная самим г. Гамбетта, и с рвением и радостью приведенная в исполнение г. Андриё, прокурором Республики, при помощи муниципального Совета тем сильнее возмутила народ Лиона, что в тоже самое время в крепости этого города сидело много заключенных солдат, закованных в кандалы, единственным преступлением коих было громкое выражение своих симпатий к Республике. И их освобождения народ тщетно добивался в течение многих дней.

Я еще вернусь к этому инциденту, бывшему первым проявлением раскола, который неизбежно должен был произойти между народом Лиона и республиканскими властями, как муниципальными, выборными, так и назначенными правительством Национальной Обо-

роны. Я ограничусь теперь, дорогой друг, указанием на более чем странное противоречие, существующее между чрезвычайной, непомерной, – скажу даже непростительной – терпимостью этого правительства по отношению к людям раззорившим, обесчестившим, продавшим и продолжающим еще и ныне продавать страну, и драконовской строгостью, проявляемой им по отношению к республиканцам, которые были гораздо более республиканцами, и революционерами, чем оно само. Можно подумать, что диктаторская власть была дана ему не революцией, но реакцией, чтобы свирепствовать против революции, и что лишь ради продолжения маскарада империи оно называет себя республиканским правительством.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем самых ревностных и наиболее скомпрометированных слуг Наполеона III лишь для того чтобы очистить место для республиканцев. Вы были свидетелем, а отчасти также и жертвой той готовности и той грубости, с какими они их преследовали, изгоняли, арестовывали и заключали в тюрьмы. Они не удовлетворялись этими *легальными и официальными* преследованиями; они прибегли к самой бесчестной клевете. Они осмелились заявить, что эти люди, которые среди официальной лжи, уцелевшей от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, отважились сказать народу правду, всю правду, что эти люди были подкупленные пруссаками агенты.

Они освобождали бонапартистов, этих заведомых, уличенных «французских пруссаков» – ибо кто может теперь усомниться в явном союзе Бисмарка с сторонниками Наполеона III? Они сами устраивают делишки наступающего врага, во имя, я не знаю какой смешной легальности и правительственного курса, существующего лишь на бумаге да в их фразах, они повсюду парализуют народное движение, самопроизвольное восстание, вооружение и организацию коммун, которые одни только и могут спасти Францию в тех ужасных обстоятельствах, в каких находится страна. И тем самым они «Национальные Оборонцы», сами неизбежно выдают Францию пруссакам. И не довольствуясь арестом людей, явных революционеров, коих единственное преступление заключается в том, что они осмеливаются выяснять их неспособность, беспомощность и недобросовестность и указывают единственное средство спасения для Франции, они позволяют еще себе бросать им в лицо это гнусное прозвище пруссаков!

О, как был прав Прудон, говоря: (позвольте мне привести целый отрывок, который слишком прекрасен и слишком справедлив, чтобы можно было выкинуть из него хоть слово) «Увы, именно свои и оказываются всегда предателями! В 1848 г., как в 1793, ограничивали революцию сами представители ее. Наша республика, как и старый якобинизм, все так же ничто иное, как *дурное построение буржуазии*, без принципа и без плана, *которая и хочет и не хочет*; которая вечно ворчит, подозревает и тем не менее остается в дураках; *которая повсюду за пределами своей шайки только и видит, что крамольников и анархистов*; которая, роясь в архивах полиции, только и умеет открыть там действительные или предполагаемые слабости патриотов; которая, запрещает культ Шателя и заставляет парижского архиепископа служить обедни; *которая на все вопросы избегает называть вещи своими именами из страха скомпрометтировать себя, воздерживается во всем, никогда ни на что не решается, подозрительно относится к ясным доводам и определенным позициям*. Не тот же ли это все Робеспьер, *говорун без инициативы*, считающий Дантона слишком деятельным, порицающий великодушное дерзание, на которое чувствует сам себя неспособным; воздерживающийся 10 августа (подобно Гамбетта и К° до 4 сентября), не одобряющий и не порицающий сентябрьскую резню (как эти самые граждане – объявление республики народом Парижа); вотирующий конституцию 1793 г. и отсрочку ее применения до заключения мира, громящий праздник Разума и устраивающий праздник *Высшего Существа*, преследующий Каррье и поддерживающий Фулье-Тэнвиля; дающий поцелуй мира Камиллу Демулену утром, а ночью дающий приказ арестовать его; предлагающий отмену смертной казни

и редактирующий закон 22 прэриала; превозносящий по очереди аббата Сийэса, Мирабо, Барнава, Петiona, Дантона, Марата, Эбера, и затем посылающий на гильотину и ссылающий одного за другим, Эбера, Дантона, Петiona, Барнава – первого, как анархиста, второго, как снисходительного, третьего, как федералиста, четвертого, как конституционалиста; *неуважающий никого кроме правящей буржуазии* и строптивного духовенства; *дискредитирующий революцию* то, по поводу церковной присяги, то путем ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находил прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, наконец, в тот день, когда, оставшись почти один с людьми золотой середины, он пытается в сообществе с ними опутать в свою пользу Революцию цепями»²⁸.

О, да, что отличает всех этих буржуазных республиканцев, истинных учеников Робеспьера, это их любовь к государственной власти, во что бы то ни стало, и ненависть к Революции.

Эта ненависть и эта любовь у них общая с монархистами всех оттенков, вплоть до бонапартистов, и это тождество чувств, это инстинктивное и тайное сочувствие, оно то их и делает столь терпимыми и столь удивительно великодушными к самым преступным слугам Наполеона III.

Они признают, что среди государственных людей Империи, имеются действительно крупные преступники, и что все они причинили Франции огромное, едва поправимое зло. Но, в конце концов, это были государственные люди; комиссары полиции, – эти патентованные и украшенные орденами шпионы, доносившие постоянно для навлечения императорских преследований на все, что оставалось честного во Франции, – даже городовые, эти привилегированные избиватели публики, разве они не были в конце концов слугами Государства? А государственные люди должны же относиться с почтением друг к другу, ибо официальные и буржуазные республиканцы прежде всего – государственные люди и были бы очень сердиты на того, кто позволил бы себе усомниться в этом. Прочтите все их речи, особенно речи г. Гамбетта. Вы найдете в каждом слове эту постоянную заботу о Государстве, эту смешную и наивную претензию выставлять себя государственным человеком.

Никогда не следует упускать это из вида, ибо этим все объясняется: и их снисходительность к разбойникам Империи, и их строгости против республиканцев революционеров. Государственный человек, будь он монархист или республиканец, не может не испытывать ужаса перед Революцией и революционерами, ибо Революция это – ниспровержение государства; революционеры же – разрушители буржуазного строя, общественного порядка.

Не думаете ли вы, что я преувеличиваю? Я докажу это фактами.

Те буржуазные республиканцы, которые в феврале и в марте 1848 г. аплодировали великодушию временного правительства, которое покровительствовало бегству Луи Филиппа и всех министров, и которое, уничтожив смертную казнь за политические преступления, приняло великодушное решение не преследовать никакого общественного чиновника за проступки, совершенные при предыдущем режиме, – эти самые буржуазные республиканцы, включая сюда, разумеется, г. Жюля Фавра, одного из наиболее фанатических – как известно – представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном Собрании и в 1849 г. в Законодательном Собрании, а ныне члена правительства Национальной Обороны и представителя республиканской Франции для заграницы, эти самые буржуазные республиканцы, что говорили, что декретировали и делали они в июле? Употребили ли они ту же снисходительность по отношению к рабочим массам, которых голод толкает на восстание?

Г. Луи Блан, тоже государственный человек, но социалистический государственный человек, ответит вам²⁹:

²⁸ Прудон. Общие идеи Революции (Прим. Бакунина)

²⁹ История Революции 1848 г., Луи Блан, т. II (Примеч. Бакунина)

«Пятнадцать тысяч граждан были арестованы после июньских событий, и четыре тысячи триста сорок восемь сосланы без суда *в целях общей безопасности*. Втечении двух лет они требовали суда; к ним послали комиссию *помилования*, и их освобождение было также произвольно, как их аресты. Кто бы поверил, что найдется человек, который в девятнадцатом веке осмелится произнести перед Собранием следующие слова: „Было бы невозможно судить сосланных на Белль-Иль, против многих из них не существует материальных улик“. И так как по утверждению этого человека, который был никто иной, как Барош (Барош Империи и в 1848 г. соучастник Жюля Фавра и многих других республиканцев в преступлении, совершенном в июне против рабочих), – *не существовало материальных улик*, которые заранее дали бы уверенность, что суд закончится осуждением, без суда присудили четыреста шестьдесят восемь человек, заключенных на понтонах, к ссылке в Алжир. Среди них фигурировал Лагард, председатель Люксембургских делегатов. Он писал из Бреста рабочим Парижа следующее прекрасное и трогательное письмо:

Братья, тот, кто вследствие февральских событий 1848 г. был призван к завидной чести идти во главе вас, тот, кто в течение девятнадцати месяцев мог переносить вдали от своей многочисленной семьи муки самого чудовищного пленения, тот, наконец, кто только что *без суда* приговорен к десяти годам каторжных работ в чужой земле – в силу применения *обратной силы закона, придуманного, голосованного и обнародованного под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), не захотел покинуть почву родины, не узнав мотивов, по которым смелый министр осмелился взгромоздить самое ужасное изгнание.

Вследствие этого он обратился к коменданту понтона „La Guerriere“, который дал ему следующую справку, *дословно* извлеченную из заметок, приложенных к его делу:

„Лагард, делегат Люксембурга, человек неоспоримой честности, человек очень мирный, образованный, всеми любимый и вследствие этого *очень опасный* для пропаганды“.

Я представляю оценке моих сограждан только один этот факт, убежденный, что их совесть сумеет прекрасно рассудить, кто больше заслуживает их сочувствия – палачи или жертвы.

Что же касается вас, братья, позвольте мне сказать вам: Я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но я не прощаюсь с вами.

Нет, братья, я не прощаюсь с вами. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в Республику, ибо она, как самый мир, не может погибнуть. Вот, почему я говорю вам: до свиданья и особенно, *единение и благоразумие*.

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста, понтон „La Guerriere“.

*Лагард,
бывший председатель Люксембургских делегатов».*

* * *

Есть ли что красноречивее этих фактов! И не тысячу ли раз были правы, говоря и повторяя, что буржуазная реакция июня – жестокая, кровавая, ужасная, циничная, бесстыдная – была истинной матерью декабрьского переворота! Принцип был один и тот же, императорская жестокость была только подражанием жестокости буржуазной и лишь превосходила ее количеством жертв, сосланных и убитых. Что касается числа убитых, это даже еще и недостоверно, ибо июньская резня, массовые расстрелы безоружных рабочих буржуазными национальными гвардейцами без всякого суда и даже не в самый день победы, а на другой день ее – были ужасны. Что же касается числа сосланных, разница весьма значительна.

Буржуазные республиканцы арестовали пятнадцать тысяч и выслали четыре тысячи триста сорок восемь рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около двадцати шести тысяч граждан и выслали почти половину – около тринадцати тысяч.

Очевидно, с 1848 по 1851 годы прогресс был, но он выразился лишь в количестве, не в качестве. Относительно же качества, т. е. принципа, следует признать, что поведение разбойников Наполеона III было много простительнее, чем буржуазных республиканцев 1848 г. Те были разбойниками, наемниками деспота, следовательно, убивая преданных республиканцев, они практиковали свое ремесло. И можно даже сказать, что, высылая половину своих пленников, а не убивая всех сразу, они в некотором роде проявили великодушие. Между тем, как буржуазные республиканцы, ссылая без всякого суда и *в видах общественной безопасности* четыре тысячи триста сорок восемь граждан, попрали свою совесть, оплевали свои собственные принципы и, подготавливая и *узаконивая* декабрьский государственный переворот, убили Республику.

Да, я говорю это открыто по чистой совести и смотря прямо в глаза: Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пиетри и все их товарищи по участию в кровавой императорской оргии гораздо менее виновны, чем г. Жюль Фавр, ныне член правительства Национальной Обороны, менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые в Учредительном и Законодательном Собраниях с 1848 по 1851 г.г. голосовали вместе с ними. Не это ли чувство виновности и преступной солидарности с бонапартистами делает их ныне столь снисходительными и столь великодушными к этим последним?

Есть еще другое обстоятельство, достойное быть отмеченным и обдуманым. За исключением Прудона и г. Луи Блан, почти все историки Революции 1848 г. и декабрьского государственно переворота точно так же, как и наиболее крупные писатели буржуазного радикализма – Виктор Гюго, Кине и др. много говорили о преступлении и преступниках декабря, но никогда не удостоили остановиться на преступлении и преступниках июня!^[2] И однако очевидно, что декабрь был ничем иным, как роковым следствием июля и его повторением в увеличенном масштабе.

Почему же это молчание относительно июня? Не потому ли, что июньские преступники были буржуазные республиканцы, и вышеупомянутые писатели морально были в большей или меньшей степени их сообщниками? Сообщниками принципиальными и в таком случае неизбежно косвенными сообщниками их деяний? Это весьма правдоподобно. Но есть еще и другая причина, уже достоверная. Преступление июня было совершено лишь над рабочими, социалистами революционерами, следовательно *чуждыми* классу и естественными врагами принципов, представляемых всеми этими почтенными писателями. Между тем, как преступление Декабря задело и изгнало тысячи буржуазных республиканцев, их братьев с социальной и их единомышленников с политической точки зрения. И притом они сами все явились более или менее жертвами его. Отсюда их крайняя чувствительность к Декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: Буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо более живо потрясен, взволнован и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, будь то отчаянный империалист, – чем несчастьем рабочего, человека из народа. В этом различии есть, конечно, великая несправедливость, но эта несправедливость отнюдь не предумышленная, она – инстинктивная. Она происходит от того, что условия и привычки жизни, всегда оказывающие на людей более могущественное влияние, чем их идеи и политические убеждения, эти условия и эти привычки, эта специальная манера существовать, развиваться, думать и действовать, все эти социальные отношения, столь многочисленные и в то же время столь правильно сводящиеся к одной и той же цели, составляющей буржуазную жизнь, буржуазный мир, – устанавливают между людьми, принадлежащими к этому миру, каковы бы ни были различия их политических мнений, бесконечно более реальную,

более глубокую, более могущественную и, в особенности, более искреннюю солидарность, чем та, какая могла бы установиться между буржуа и рабочими, вследствие более или менее глубокой общности убеждений и идей.

Жизнь господствует над мыслью и определяет волю. Вот, истина, которую никогда не следует терять из вида, когда хотят понять что-либо в политических и социальных явлениях. Если хотят установить искреннюю и совершенную общность мыслей и воли между людьми, нужно основывать их на одинаковых жизненных условиях, на общности интересов. А так как самые условия существования мира буржуазного и мира рабочего создают между ними пропасть, ибо один мир – есть мир эксплуатирующий, другой же – эксплуатируемый и жертва, я заключаю, что, если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет сделаться искренне и не на словах только другом и братом рабочих, он должен отказаться от всех условий своего прошлого существования, от всех своих буржуазных привычек, порвать все свои отношения с буржуазным миром – в области чувства, тщеславия и ума и, повернувшись спиной к этому миру, ставши его врагом и объявив ему непримиримую войну, броситься целиком без ограничений и без возврата в рабочий мир.

Если он не испытывает этой страстной жажды справедливости, достаточной для того, чтобы внушить ему такую решимость, влить в него такое мужество, – пусть он не обманывает самого себя и не обманывает рабочих; он никогда не сделается их другом. Его отвлеченные мысли, его мечты о справедливости могут еще увлечь его на сторону мира эксплуатируемых в моменты спокойного теоретического размышления, когда все тихо кругом. Но пусть наступит великий социальный кризис, когда два эти непримиримо противоположные мира встретятся в решительной битве, и все привязанности его жизни неизбежно отбросят его в мир эксплуататоров. Это уже случалось раньше со многими из наших бывших друзей, и это всегда будет происходить со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо напряженнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот объяснение снисходительности ваших буржуазных демократов к бонапартистам и их чрезмерной строгости к революционерам социалистам. Они ненавидят гораздо меньше первых, чем вторых; и необходимым последствием этого является их объединение с бонапартистами в общей реакции³⁰.

* * *

Бонапартисты, сперва чрезвычайно перепуганные, скоро заметили, что в лице правительства Национальной Обороны и всего этого нового мнимо-республиканского и официального люда, созданного на спех этим правительством, они имеют могущественных союзников. Они должны были весьма удивиться и обрадоваться, – они, которые, за отсутствием других качеств, обладают по меньшей мере качеством действительно практических людей, желающих средств, которые ведут к их цели, – когда они увидели, что это правительство не только пощадило их самих и предоставило им пользоваться на полной свободе плодами их грабежа, но даже сохранило повсюду, в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников Империи, довольствуясь лишь замещением префектов и супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставляя все канцелярии префектур точно так же, как и самые министерства, переполненными бонапартистами и громадное большинство коммун Франции под развращающим игом муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, – тех самых муниципалитетов которые произвели последний плебисцит, и которые при министерстве Паликао и при иезуитском

³⁰ До сих пор Бакунин сохранял за своим произведением характер письма, адресованного лично к некоему другу. Начиная с следующего абзаца, он покидает форму послания – Дж. Г.

управлении Шевро развили в деревнях такую чудовищную пропаганду в пользу бесчестного.

Они должны были много смеяться над этой глупостью, действительно непостижимой, со стороны умных людей, составляющих теперешнее временное правительство, что они могли надеяться, что, как только они, республиканцы, встанут во главе власти, то вся эта бонапартистская администрация делается тоже республиканской. Бонапартисты действовали совсем по иному в Декабре. Их первой заботой было сменить и изгнать, до последнего мелкого чиновника, всех, кто не хотел дать себя совратить, выгнать всю республиканскую администрацию и поставить на все должности от самых высоких до самых низших и ничтожных питомцев бонапартистской банды. Что же касается до республиканцев и революционеров, они массами ссылали и заключали в тюрьмы последних и высылали из Франции первых, оставляя внутри страны лишь наиболее безвредных, наименее решительных, наименее убежденных, наиболее глупых или же тех, кто согласился так или иначе продать себя. Вот, так то им удалось добиться власти над страной и надругаться над нею в продолжение больше, чем двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. Ибо, как я уже заметил, бонапартизм ведет свое начало с июня, а не с декабря, и г. Жюль Фавр и его друзья, буржуазные республиканцы Учредительного Собрания, были его истинными основателями.

Нужно быть справедливым ко всем, даже к бонапартистам. Конечно, это негодяи, но негодяи весьма практичные. Повторяю еще раз, они обладали пониманием и желанием средств, ведущих к их цели, и в этом отношении они выказали себя гораздо выше республиканцев, которые делают вид, будто они правят ныне Францией. Даже в настоящее время, после своего поражения бонапартисты выказывают себя более тонкими и много более могущественными политиками, нежели все эти официальные республиканцы, занявшие их места. Это они, а не республиканцы правят Францией еще и по сию пору. Ободренные великодушием правительства Национальной Обороны, утешившись созерцанием царящей всюду правительственной реакции вместо Революции, которой они опасаются, найдя снова во всех отраслях администрации Республики своих старых друзей, своих сообщников, неразрывно с ними связанных той *солидарностью бесчестия и преступления*, о которой я уже говорил, и к которой я возвращусь еще позже, сохраняя в своих руках ужасное орудие – все эти бесконечные богатства, которые они собрали на протяжении двадцати лет отчаянного грабежа, – бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое и могущественное влияние – в тысячу раз более могущественное, чем влияние коллективного короля Ивето, (Ivetot) правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты – «Отечество» «Конституционалист», «Страна», «Народ», принадлежащий г. Дювернуа, «Свобода» г. Эмиля де Жирардена, и еще многие другие, продолжают появляться.

Они предают правительство Республики и говорят открыто, без страха и без стыда, как если бы они не были наемные предатели, развратители, продавцы, могильщики Франции. К г. Эмилю де Жирарден, осипшему было в первые дни сентября, снова вернулся его голос, его цинизм, его неподражаемое вероломство. Как в 1848 г. он великодушно предлагает правительству Республики «ежедневно по идее». Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента как он понял, что не тронут ни его особу, ни его карман, он осмелел и чувствует себя снова хозяином положения: «Установите только Республику, пишет он, и вы увидите, какие великолепные политические, экономические и философские реформы я вам предложу». Газеты империи вновь создают открыто реакцию в пользу империи. Органы иезуитизма вновь начинают говорить о благодеяниях религии.

Бонапартистская интрига не ограничивается этой пропагандой посредством прессы. Она сделалась всемогущей в деревнях, а также и в городах. В деревнях, поддерживаемая целой толпой крупных и средних собственников бонапартистов, господ попов и всех этих бывших имперских муниципалитетов, нежно сохранных и покровительствуемых прави-

тельством Республики, она проповедует с большей, чем когда либо, страстностью ненависть к Республике и любовь к империи. Она учит крестьян не принимать никакого участия в национальной обороне и советует им, напротив, принять лучше пруссаков, этих новых союзников императора. В городах поддерживаемые бюро префектур и супрефектур, если не самими префектами и супрефектами, – судьями империи, если не генеральными адвокатами и прокурорами Республики, генералами и почти всеми высшими офицерами армии, если не солдатами, которые хотя и патриоты, но связаны старой дисциплиной; поддержанные также большей частью муниципалитетов и бесчисленным большинством крупных и мелких коммерсантов, промышленников, собственников и лавочников, поддержанные даже этой толпой буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых, все же антиреволюционных, которые, находя в себе энергию лишь против народа, помогают делу бонапартизма, не зная и не желая этого; поддержанные всеми этими элементами бессознательной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, самостоятельность и организацию народных сил, и тем самым несомненно выдают как города, так и деревни пруссакам, а через пруссаков – главе своей банды – императору. Наконец, – я могу сказать – они выдают пруссакам крепости и армии Франции, доказательство – бесчестная капитуляция Седана, Страсбурга и Руана³¹. Они убивают Францию.

* * *

Должно ли и могло ли правительство Национальной Обороны сносить это? Мне кажется, что на этот вопрос может быть дан лишь один ответ, – нет, тысячу раз нет! Его первая, его самая главная обязанность, с точки зрения спасения Франции, состояла в том, что оно должно было вырвать с корнем заговор и зловедную деятельность бонапартистов. Но как вырвать ее? Было лишь одно средство: это сперва арестовать и заключить в тюрьму всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с Императрицы Евгении и ее двора, всех военных чиновников, военных и гражданских сенаторов, государственных советников, бонапартистских депутатов, генералов, полковников, в случае надобности, даже капитанов, архиепископов и епископов, префектов, супрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и юридический корпус, не забывая полицию, всех заведомо преданных империи собственников, всех, одним словом, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны эти массовые аресты? Ничего не было легче. Достаточно было Правительству Национальной Обороны и его делегатам в провинциях дать знак, рекомендуя при этом населению не обижать никого, и можно было быть уверенным, что в немного дней, без особого насилия и без всякого кровопролития, огромное большинство бонапартистов, особенно все богатые, влиятельные и почетные члены этой партии, на всем пространстве Франции, были бы арестованы и посажены в тюрьму. Разве само население департаментов не арестовало многих по своей инициативе в первой половине сентября и – заметьте это хорошенько, – не причинив никому никакого зла, самым вежливым и самым гуманным образом в мире?

Нравы французского народа уже больше не грубы и не жестоки, особенно нравы пролетариата городов Франции. Если еще и остались некоторые пережитки, их надо искать отчасти у крестьян, главным же образом у столь же тупого, как многочисленного класса лавочников. О, эти действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 г.^[3], и многие факты доказывают, что по природе они не переменились и ныне. Что особенно делает лавочника столь жестоким, это наряду с его безнадежной тупостью низость, страх и ненасытимая жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, и за риск, которому подвергался

³¹ Слова «Руана» нет в рукописи: оно прибавлено в корректуре. Руан был занят пруссаками 8 декабря 1870 г. – Дж. Г.

его кошелек, который вместе с его непомерным тщеславием составляет, как известно, самую чувствительную часть его бытия. Он мстит лишь тогда, когда может сделать это без малейшей опасности для самого себя. Да, но уже тогда он жалости не знает!

Кто знает рабочих Франции, тот знает также и то, что, если где еще и сохранились истинные человеческие качества, столь сильно пониженные, а еще больше извращенные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной чувствительностью, так сохранились они среди рабочих. Это ныне единственный класс общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, слишком великодушен порою и слишком забывчив к ужасным преступлениям и гнусным изменам, жертвою коих он бывал слишком часто. Он неспособен к жестокости. Но в то же время в нем есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели; здравый смысл, который говорит ему, что, когда хотят положить конец злодеяниям, нужно сперва парализовать злодеев. Франция, очевидно, была предана, следовало помешать предателям предавать ее еще больше. Вот, почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьмы бонапартистов.

Правительство Национальной Обороны заставило повсюду выпустить их. Кто был неправ – рабочие или правительство? Конечно – это последнее. Оно не только было неправо, оно совершило преступление, выпуская их. Почему же кстати оно не выпустило в то же время всех убийц, воров и преступников всякого рода, содержащихся в тюрьмах Франции? Какая разница между ними и бонапартистами? Я не вижу никакой, и если она и существует, то она целиком говорит в пользу уголовных преступников и против бонапартистов. Первые воровали, нападали, обижали, убивали отдельных людей. Часть последних совершила буквально те же самые преступления, и все вместе они ограбили, изнасиловали, обесчестили, убили, предали и продали Францию, целый народ. Какое преступление больше? Без сомнения – преступление бонапартистов.

Могло ли бы Правительство Национальной Обороны причинить больше зла Франции, если бы оно освободило всех преступников и каторжников, заключенных в тюрьмах и работающих на каторге, – чем оно причинило ей тем, что уважало и заставляло других уважать свободу и собственность бонапартистов и оставляло их свободно довершать разрушение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен или даже несколько тысяч человек (пруссак ежедневно убивают гораздо больше), – затем они были бы быстро снова захвачены и заключены в тюрьму самим народом. Бонапартисты убивают народ, и стоит им дать делать это еще некоторое время, они посадят в тюрьму весь народ – всю Францию.

Но как арестовать и удержать в тюрьме столько людей без всякого суда? О, за этим дело не станет! Лишь бы нашлось во Франции достаточное количество добросовестных судей, и лишь бы они дали себе труд порыться в старых законах прислужников Наполеона III, они без сомнения легко найдут за что присудить три четверти их к каторге и многих даже к смерти, просто применяя к ним без всякой чрезвычайной строгости уголовный кодекс, как он есть.

Впрочем, разве сами бонапартисты не дали примера? Разве они не арестовали и не заключили в тюрьмы во время и после декабрьского переворота более двадцати шести тысяч и не сослали в Алжир и в Кайенну более тринадцати тысяч граждан – патриотов? Скажут, что им было позволительно действовать так, потому что они были бонапартисты, т. е. люди без убеждений, без принципов, разбойники, но, что республиканцы, борящиеся во имя права, и желающие торжества принципа справедливости, не должны, не могут попирать их элементарные и основные условия. Тогда я приведу другой пример:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Комитет Спасения Франции, наиболее смелым и деятельным членом коего был Бакунин, организовался в видах попытки революционного восстания. Программа этого восстания была изложена за подписями делегатов от городов Лиона, С-Етьена, Таррара и Марселя, в воззвании, отпечатанном на красной бумаге и расклеенной 26 сентября. Бакунин, хотя и иностранец, не задумался присоединить свою подпись к подписям своих друзей, дабы разделить с ними риск и ответственность. Воззвание объявляя, что «административная и правящая государственная машина, пришедшая в негодность, уничтожается» и что «народ Франции вступает в полное распоряжение самим собою», предлагало образовать во всех отдельных общинах комитеты Спасения Франции и немедленно послать в Лион по два делегата от каждого Комитета, «чтобы образовать революционный Конвент Спасения Франции». (Прим. пер.)

2.

Они не могли назвать «преступлением» подавление июньского восстания и «преступниками» тех, кто предоставил свои услуги для этого кровавого дела, ибо они сами были в числе палачей. Виктор Гюго был «один из шестидесяти представителей, посланных Учредительным Собранием чтобы подавить восстание и направить атакующую колонну», и 25 июня «он стоял лицом к лицу с повстанцами на одной из соседних с Вогезской площадью улиц». (В. Гюго, Действия и речи со времени изгнания. V. Hugo, Actes et paroles depuis l'exil). Что же касается Кине, он говорит: «в качестве полковника одиннадцатого легиона, стоявшего на страже Собрания, я охранял его. Бонапартисты были душой восстания (sic), я же защищал республику... Может быть Луи Бонапарт вернулся с триумфом, если бы июньское восстание восторжествовало» (Edgar Quinet, avant l'exil). – Дж. Г.

3.

Вот, в каких выражениях г. Луи Блан описывает положение на другой день после победы, одержанной в июне буржуазными национальными гвардейцами над рабочими Парижа: